

СЕРГЕЙ ПОЛИКАНОВ

РАЗРЫВ

ЗАПИСКИ АТОМНОГО ФИЗИКА

СЕРГЕЙ ПОЛИКАНОВ • РАЗРЫВ





Сергей Поликанов

РАЗРЫВ

**Записки атомного
физика**

ПОСЕВ

Обложка работы В. Филимонова

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG., 1983
Frankfurt/Main
Printed in Germany

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно в библиотеке одной из лабораторий я случайно наткнулся на шкаф, в котором стояли четыре невзрачных сереньких томика под названием „Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии, 1–5 июля 1955 г.». Рядом датированные 1956 годом покоились их двойники, но уже на английском языке, появившиеся на свет по воле Комиссии по атомной энергии США. Заглянув ради любопытства на внутреннюю сторону обложек, где были приклеены маленькие белые листочки, я не увидел ни одного штампа библиотеки. Никто никогда в гигантской лаборатории не брал к себе в кабинет или домой ни один из томов. По крайней мере, за последние двадцать лет. Это не удивительно. Книги тоже стареют и умирают, а научные особенно быстро.

Я легко нашел интересовавший меня доклад и, когда прочитал его название, меня словно обдало морозным уральским воздухом. Я не собирался читать доклад, потому что знал, что через две или три страницы найду рисунок, сделанный когда-то мной, но буквально впился во введение с недовысказанными мыслями и недомолвками. Вводная часть кончалась словами „Весь комплекс исследований проводился под руководством и при непосредственном участии группы физиков старшего поколения». Когда я несколько раз перечитал давно забытую фразу, словно из белесого тумана на мгновение глянули на меня лица людей, давно ушедших из моей жизни. И, в который раз, я спросил себя, неужели то, что случилось со мной, правда? Настолько не

похожая на правду, что я не удивлюсь, если кто-нибудь, услышав мою историю, с сомнением покачает головой.

Рассказать о себе — значит поведать что-то и об обществе, в котором живёшь или жил. Это совсем не просто, но у меня есть тайная надежда, что даже при всех шероховатостях моего изложения читатель узнает новое о жизни и душах моих соотечественников.

1. „СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”

Когда я впервые услышал эту историю, она поразила меня странной предопределенностью, почти запрограммированностью. Случайные факты сошлись словно хорошо подогнанные друг к другу детали. Два обломка монеты, гулявшие по белому свету, встретились в нужном месте и сложились в одно целое, зубец к зубцу.

Одна из многих военных эскадрилий весной 1942 года после боев была отведена на отдых под Воронеж. Служивший в ней техник-лейтенант из Ленинграда поспешил в университетскую библиотеку, где его ждали свежие американские журналы. Среди них оказался нужный номер в хорошо знакомой зеленоватой обложке. Времени на чтение почти не было, да и зачем читать статьи по физике, когда впереди снова фронт. Техник-лейтенант ищет предметный указатель, всегда печатаемый в конце журнала. Найдена нужная буква, но почему нет нужного слова? Где оно — „деление атомных ядер”? С другими словами все обстоит благополучно, а это исчезло таинственным образом. Что случилось с американскими учеными, которые совсем еще недавно активно изучали интересное физическое явление? Сейчас в Америке ночь, но утром ученые встанут, как обычно, позавтракают, прочитают утренние газеты и отправятся в свои лаборатории. В Америке не рвутся бомбы, и не стреляют пушки. Что же произошло с физиками, интересовавшимися делением урана? В предыдущих выпусках журнала статей на эту тему сколь-

ко угодно. Над этим странным делом стоило задуматься.

Последние два года перед войной техник-лейтенант вместе со своим другом работал над задачей, которую перед ними поставил член-корреспондент Академии наук Игорь Васильевич Курчатов. Сейчас приятель на фронте, где-то под Ленинградом, а Курчатов в начале войны оказался в Севастополе, где занимался размагничиванием военных кораблей. Тогдашняя работа в Ленинграде не пропала даром. Ее результаты опубликованы в одном из этих зелененьких „Физикл Ревью”, стоящих на полке. Далась она нелегко. Радиосхема была смонтирована тщательно, по всем правилам, и тем не менее происходило что-то странное. Жестяной цилиндр с закопченной бумагой медленно крутился, и острие стрелки чертило ровную, блестящую линию, иногда чуть подпорченную маленьким зигзагом. Так и должно было быть, но почему-то время от времени стрелка дергалась подряд несколько раз, оставляя на черной бумаге длинные поперечные полосы во всю ширину ленты. В который раз всю аппаратуру переделывали. Но вся эта чертовщина повторялась снова и снова. В конце концов все объяснилось просто. Напарник имел привычку, сидя за столом, покачивать ногой и задевал один из проводов. Все встало на свое место. Стрелка перестала „нервничать” и часами медленно ползла по черному полю бумажной ленты. Но иногда она вздрагивала и медленно пересекала ее. Ничто не изменилось и после того, как аппаратуру перевезли в Москву и поместили глубоко под землю на станции метро „Кировская”. Редкие поперечные линии остались и оказались ценной находкой. Был открыт новый вид деления атомных ядер. И это случилось в ту пору, когда некоторые ученые начали задумываться о том, нель-

зя ли энергию, выделяемую при расщеплении атомных ядер урана на два осколка, использовать для практических целей. Случись это, и одна из наиболее знаменитых, при всей ее краткости, формул Эйнштейна уверенно вошла бы в жизнь человечества.

Что привело техника-лейтенанта в библиотеку? Не знаю. Может быть, желание прикоснуться к кусочку той, прошлой жизни, связанной с наукой. Но не чудо ли, что обстоятельства привели его туда, где можно было найти американские журналы. Так или иначе, техник-лейтенант не обнаружил в них того, что искал. Этого было достаточно, чтобы заподозрить простую вещь — изучение деления урана засекречено. Дальнейший ход мыслей физика, хорошо знакомого с проблемой, мог привести только к одному заключению: в США идут работы по созданию каких-то устройств, использующих энергию, выделяемую при делении урана. Возможно, разрабатывается новый вид оружия чудовищной силы. Случай ...и чрезмерное усердие американской службы безопасности, запретившей публикацию всех статей, где упоминалось деление атомных ядер.

Мысль о таинственном исчезновении из научного лексикона понятия „деление атомных ядер” прочно засела в голове техника-лейтенанта. Через некоторое время полевая почта повезла в Москву письмо, адресованное самому Сталину. В нем обращалось внимание на то, что в США, по-видимому, начаты работы по созданию атомного оружия. Тридцатилетний техник-лейтенант по фамилии Флеров знал, конечно, до этого об отдельных статьях, в которых обсуждалась возможность реализации цепной реакции деления урана. Так что предположение о том, что в Америке ищут пути практического использования атом-

ной энергии, не родилось на голом месте. Но ведь все могло случиться иначе, напиши неизвестный нам полковник приказ об отправлении эскадрильи в Тамбов вместо Воронежа. В конце 1942 года Курчатов подтвердил то, что интерес к делению атомных ядер может быть продиктован военными соображениями, и выразил уверенность, что работа в этом направлении может быть начата и в Советском Союзе.

Когда-то Покровское-Стрешнево было довольно привлекательным подмосковным дачным местом. О том времени напоминали сохранившиеся кое-где деревянные дома с большими застекленными террасами. Московские окраины все ближе подходили к Покровскому-Стрешневу, но еще не сомкнулись с ним. Здесь, на одном из пустырей, одно время использовавшимся в качестве полигона для испытания танков, в 1943 году началось какое-то строительство. Прежде всего огромную территорию начали обносить забором. Рабочей силы хватало, несмотря на то, что шла война. Грузовики привозили и увозили строителей в сопровождении охраны. Можно было также заметить офицеров в форме НКВД. В то время это мало кого могло удивить, и немногочисленные прохожие не проявляли излишнего любопытства. И правильно делали, потому что строительством „объекта” интересовался сам Берия, тогдашний шеф НКВД. Его портреты можно было увидеть на стенах в любом учреждении. Лысый мужчина средних лет, в пенсне, строго поглядывал на сидящих за письменными столами и стоящих у станков. Я не знаю, как он выглядел в жизни. Возможно, на портрете Берия был таким, каким хотел видеть себя, и художник исполнил это желание. Именем Берия можно было запугать любого. Он мог сделать все. Берия мог наградить орденом, и в его силах бы-

ло отправить на Магадан. В распоряжении Берия была огромная армия секретных агентов. Поэтому вряд ли кому приходило в голову совать нос туда, где начиналась секретная деятельность, а в Покровском-Стрешневе этим попахивало. То, что Берия „курировал” строительство, облегчало дело, потому что он был владельцем огромной массы бесплатной рабочей силы, хозяином концентрационных лагерей, где жили бесправные заключенные. А этот народ даже и во время войны не переводился.

Руководил строительством объекта полковник Худяков, но, конечно, за всем делом приглядывали начальники и повыше чином, набившие руку на строительстве канала Москва—Волга и в других местах. Все они знали, что на этот раз строить надо быстрее обычного. Справятся с заданием, и на них посыплются ордена, медали. Деньги и повышения в чинах тоже не помешают. А не сумеешь в срок все сделать, пеняй на себя. Может быть, на фронт угодишь, но не исключено и кое-что похуже. Все старались и полковник Худяков тоже „невозможное” делал. Правда потом, во второй половине сороковых годов, крупно не повезло ему. Жил он тогда в коттедже неподалеку от каменного забора, что огораживал территорию „объекта”. Однажды вечером вышел он на освещенную террасу окно закрыть, но не успел. Убили его выстрелом из пистолета. Не бандиты-грабители, а кто-то другой. Может, кто с Худяковым старые счета сводил, а может, что другое было. Но успел Худяков к этому времени свой „объект” закончить.

Вообще недостатка в специалистах по строительным делам не было. Среди них народ опытный, тертый водился. Один генерал Комаровский многого стоил. Чего он только не строил. Если нужно, даже море выкопать мог. Пригласил его

к себе однажды Берия. Сидели Берия с Комаровским, коньяк пили, о жизни разговаривали, и вдруг положил Берия перед Комаровским чистый лист бумаги.

— Пиши.

— Что писать-то, Лаврентий Павлович? — удивился Комаровский.

— Про то, как тебя немецкая и английская разведка вербовала.

— Вы что, Лаврентий Павлович, шутите?

— Какие еще шуточки? Пиши.

Комаровский крутился, пытался из когтей Берия вырваться, а тот не спешил, играл с Комаровским, как кошка с мышкой. Позвонил телефон. Берия снял трубку, встал, вытянулся:

— Слушаю, товарищ Сталин, да, да... Будет сделано.

Берия повесил телефонную трубку, налил полные рюмки коньяка.

— Ну, вот что, Комаровский. По указанию товарища Сталина ты назначаешься начальником строительства. Сегодня я подпишу приказ, а пока давай обмоем твое назначение. С тебя причитается.

Я никогда не видел генерала Комаровского, но убежден, что разговор его с Берия выглядел, примерно, так, как описан мной. Дело в том, что всего лишь два человека отделяли меня от Комаровского, оба физики. Один из них, родственник Комаровского, услышал историю от самого Комаровского, а другой рассказал ее мне. Поэтому у меня есть основания верить и в другой случай, выглядящий просто невероятным.

В этот раз Берия, вызвав Комаровского, сказал, что в одной из дверей на даче Сталина застряла пуля. Недалеко от дачи работают люди Комаровского. На розыск стрелявшего дается три дня. В противном

случае... Через два дня Комаровский представил результаты баллистического анализа траектории пули, и они указывали место, откуда стреляли. Им оказалась... площадка, где охрана Сталина тренировалась в стрельбе. На этом история таинственного выстрела для меня обрывается.

В конце пятидесятых годов обстоятельства привели меня в небольшой городишко к северу от Москвы. В соседней квартире жил пенсионер, человек желчный и раздражительный, любящий подмечать „непорядок”. Судя по всему, он привык, чтобы его побаивались, и любил это. Но кого мог напугать пенсионер, даже если в прошлом был он полковником НКВД. Врагом оказался бездомный красавец Васька. Любимец всего подъезда, пушистый сибирский кот, видимо, желая сделать приятное своим благодетелям, часами дремал около чьей-нибудь двери, но, заслышав тяжелые шаги медленно поднимавшегося по лестнице пенсионера, просыпался и норовил проскочить мимо него, избежав пинка ногой.

Когда пенсионеру исполнилось шестьдесят лет, в местной газете напечатали очерк „о славном жизненном пути” отставного полковника. Статью снабдили фотографией. Глядя на обвисшие, с лиловым оттенком и красными жилками щеки юбиляра, трудно было поверить, что в статье помещена его фотография. Глаза, кажется, мало изменились. Помутнели, но, наверное, всегда были холодными и злыми. Две серые щелочки. Последней „военной” должностью юбиляра была служба начальником концентрационного лагеря где-то в Горьковской области. Видимо, о том времени и он и его жена вспоминали с удовольствием, и потому, наверное, эта угодливо улыбающаяся бабенка, услышав по радио, что Солженицын находится на Западе,

заявила в подъезде, что „зря эту падлу не прибили в свое время”. Уходя в отставку, служака воспользовался одной из привилегий, полагающихся таким, как он, и получил квартиру в подмосковном городе.

Встречая соседа около дома, я редко видел его смеющимся. Ученых и вообще интеллигенцию он недолюбливал, не скрывал этого, и раз „по-соседски” признался мне, что ему нравится больше „среда простая, рабочая”. Вообще мы редко разговаривали, да и о чем нам было говорить, но вышло как-то раз, что разговор зашел о моей работе, и я упомянул лабораторию в Москве, где провел несколько лет. Пенсионер сразу оживился:

— А вы коттедж видели на территории?

Узнав, что я даже внутри побывал, он обрадовался, заулыбался:

— А ведь это я тот коттедж строил.

Для него это было напоминанием о тех далеких сороковых годах, когда он, еще молодой и сильный, работал на строящемся в Покровском-Стрешневе секретном „объекте особой важности”.

Когда начальник „объекта” полковник Худяков поручил моему будущему соседу заняться строительством коттеджа, тот рьяно взялся исполнять приказ. Вскоре работа стала ему даже нравиться. До сих пор ему приходилось иметь больше дело с бараками для заключенных, и вопросы эстетики и комфорта его тогда не интересовали. Важно было, чтобы вся эта „серая сволочь” не перемерзла от холода раньше времени. Теперь надо было построить добротный дом. Конечно, не его дело было проектировать коттедж. Его задача была попроще — придиричливо принимать у прорабов работу и драть с них три шкуры, коли что не так, как положено, сделано бы-

ло. При случае и по шее дать, чтобы старательнее трудились.

Коттедж сооружался большой, с кабинетом, спальнями, гостиной и всякими служебными помещениями. Стены, лестница — все отделялось со вкусом, и лишний десяток тысяч рублей за деньги не считался. Важно было, чтобы будущий хозяин коттеджа остался доволен. Иногда офицер видел его и догадывался, что этому человеку предстоит выполнить какую-то необычайно важную задачу. Какую, конечно, не знал и, будучи человеком опытным, лишних вопросов не задавал.

Строил он коттедж, радовался, но не знал, что будущий его владелец будет пленником. Необычным, но все-таки пленником. До конца своей жизни. Генералы и маршалы будут уважительно пожимать ему руку, для министров он будет высшим авторитетом. Он будет вхож в самые „верха“, и там к его голосу будут внимательно прислушиваться. Когда же потребуется, он сможет просить и даже требовать все, что угодно.

Когда черный „ЗИМ“ на полной скорости подкатывал к забору вокруг пустыря, молодые парни в штатском с пистолетами под пиджаками уже держали ворота распахнутыми. По воскресеньям владелец коттеджа любил побродить с ружьем в одном из охотничьих угодий, богатых дичью, или отдыхал на даче в Барвихе. Пожелай он отдохнуть у моря, и в его распоряжение была бы немедленно предоставлена дача в Крыму или на Кавказе. Конечно, в 1943 году всего этого не могло быть. В то время был коттедж, расположенное в двухстах метрах от него Главное здание и работа, с раннего утра до позднего вечера. Правда и потом, когда война кончилась, работа составляла основной смысл его жизни, и не на-

шлось никого, кто сказал бы ему, измученному тяжелой болезнью, что пора ему поберечь себя. И это относится не только к его друзьям, но особенно к черствым правителям государства. Для них он был прежде всего удивительным топливом, сгоравшим ярким пламенем.

Чего уже никогда не было у владельца коттеджа после 1943 года, так это простой человеческой свободы. Страдал ли он от этого? Не знаю. Но он не мог пешком дойти до трамвайной остановки и оттуда доехать до станции метро „Сокол”, купить билет и, смешавшись с толпой, встиснуться в вагон подошедшего поезда. И даже там, где он мог ходить, две „тени” следовали за ним — верзила с огромной лысиной, перерезанной узкой прядкой волос, и второй, среднего роста, всегда подтянутый и хмурый. Ведомство Берия тщательно „охраняло” своих подопечных.

Владельцем коттеджа стал рослый и статный мужчина, несколько грузный, с веселыми глазами и черной бородой — академик Курчатов. Ему, руководителю Лаборатории № 2, как называли таинственное учреждение в Покровском-Стрешневе, было суждено стать лидером фантастической, невиданной доселе по своим масштабам программы в Советском Союзе. Создать новый вид оружия невероятной силы, основанного на использовании атомной энергии, — в этом была ее суть. Для кого предназначалось это оружие? К моменту начала работы в Лаборатории № 2 ход войны изменился. После победы на Курской дуге Советская армия упорно двигалась на Запад, и не было уже силы, которая могла ее остановить. В то время вряд ли можно было рассчитывать, что атомное оружие будет создано до окончания войны. Стало быть работа шла уже на будущее.

С детства я слышал разговоры об авиации, о самолетах, о летчиках-испытателях. Мой отец, обладатель совсем не героической профессии, работал главным бухгалтером на авиационном заводе, выпускавшем самолеты-бомбардировщики. Когда к нему приходили его друзья, работавшие с ним, начинались разговоры о фюзеляжах, о цехах завода, о конструкторах. Мне казалось самым собой разумеющимся, что я стану авиационным инженером. Я видел себя в будущем работающим в каком-нибудь конструкторском бюро, но не пугала и перспектива оказаться в цехе авиационного завода. Не так важно, с чего начинать, главное — быть поближе к самолетам. Эта страсть привела меня в авиационный техникум, а потом, в последний год войны, в институт, где я учился на моторостроительном факультете. Первые полтора года учебы прошли успешно.

Однажды на двери проходной Московского Авиационного института появилось объявление. В нем сообщалось, что в Московском Механическом институте объявляется прием студентов на инженерно-физический факультет, который будет выпускать инженеров-физиков, специалистов по конструированию физических приборов и установок. У меня особого интереса к физике не было. Лекции по физике были нудны и скучны, и представление о физических установках и приборах почему-то прежде всего связывалось со счетчиком электроэнергии, скромно висевшем в углу нашей квартиры. Конечно, я знал из газетных сообщений об американских атомных бомбах, сброшенных на японские города, и, больше того, представлял даже, что критическая масса — это количество вещества, нужное для начала цепной реакции деления атомных ядер, а следовательно и взрыва. Но все это казалось весьма и весьма дале-

ким от меня, и никак не связывалось с „конструированием физических приборов”. Я почти сразу забыл про объявление, но через несколько дней двое моих друзей напомнили мне о нем.

— Не ломайся, делай то, что тебе велят взрослые, — бубнил один из них, для пущей убедительности подталкивая меня сзади коленом. Второй, покраснев от возбуждения, гневно размахивал перед моим носом пачкой анкет и орал:

— Никогда не думал, что такого дурака встречу. Дай ему покрепче, а то он не понимает.

Мои друзья упрекали меня в косности, лени и давили, давили на меня:

— Мы вчера все разнюхали. Начинаются большие дела. Ты фамилию Тамм когда-нибудь слышал? Игорь Евгеньевич Тамм — лучший советский физик. Бери анкету, заполняй и поезжай немедленно в Механический институт.

Уже готовый к капитуляции, я решил все-таки немного посопротивляться и успокоил друзей, обещав съездить в институт и после этого заполнить анкету. Декан факультета принял меня и на мои вопросы весьма уклончиво объяснил, что в институте будут читать лекции выдающиеся физики. Я понял, что большего не узнаю, но, как и мои друзья, догадался, что новый факультет будет иметь прямое отношение к атомной энергии. Кроме нас заявление о переходе в Механический институт подал еще один наш сокурсник. Учился он не хуже нас троих, но его по какой-то причине на инженерно-физический факультет не приняли. С февраля 1946 года новый семестр для нас троих начался в желтом скромном здании на улице Кирова. Как и везде, в институт мы проходили по пропускам. Их проверяла полусонная, дряхлая старушка, и мы часто проскакивали мимо нее, не раскрывая пропуска.

Декан не обманул нас. наших профессоров можно было без колебаний поставить в число лучших советских физиков. Но не только прекрасные лекции рождали в нас чувство уважения к ним. Мы понимали, что для них лекции — не главное. Их основное дело было вне стен нашего института, в лабораториях, где происходило нечто по-настоящему важное и даже необыкновенное. Когда академик Арцимович из Лаборатории № 2, выглядевший всегда несколько надменным, шел, не спеша, в сопровождении двух парней, во время лекции слонявшихся по коридору, в голову приходили глупые мысли — в жизни ученых, занимающихся ядерной физикой, появилось что-то, делающее их похожими на героев приключенческих романов. Их начинала окружать какая-то таинственность. И то, что внизу, у входа в институт, Арцимовича ждал серый, вызывавший восхищение „ЗИМ”, было совсем необычно. На наших глазах рождалась элита, которую составляли ученые, и прежде всего физики, работавшие над атомной бомбой.

Через несколько лет мы придем в лаборатории к нашим учителям и, если к тому времени они еще не сделают атомную бомбу, мы им поможем. Предвкушение будущего наполняло нас радостным ожиданием, и мы в душе подгоняли время. Скорее начать работать. Предчувствие необычного вызывало ощущение некоторого превосходства по отношению к тем „обычным” людям, с которыми приходилось ехать в метро и трамваях, сталкиваться в магазинах и на улице. Все они или, по крайней мере, большинство, занимались делами скучными по сравнению с тем, что предстояло встретить нам. Так думал я. Наверное, мои сокурсники думали так же. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и мысли о своей исключительности приходили в голову только мне. Но ведь

так мы все были похожи в то время, особенно, когда до одурения спорили о теории относительности.

Весной, когда мартовское солнышко заглядывало в наши аудитории, начиналось смутное томление. Нас куда-то тянуло, и по окончании лекций мы не торопились домой. Втроем мы брели по Кировской улице к центру Москвы и дальше к Арбату. Иногда мы даже убегали с занятий, и, перекусив где-нибудь мороженым, шатались по Москве до позднего вечера. Конечно, мы внимательно приглядывались к встречным девушкам, заговаривали с некоторыми из них, зубоскалили, дурачились. Но бродя по улицам и бульварам, мы как-то невольно в наших разговорах все время устремлялись к будущему. Там начнется настоящая жизнь, а то, что происходит с нами сейчас, всего лишь приятное ожидание.

В конце 1948 года декан объявил нашему курсу, что нужда в специалистах очень велика, и в связи с этим образуется „ускоренная группа”. Те, кто перейдут в эту группу, раньше получают дипломы. Мои друзья ринулись туда, а я решил все-таки прослушать полный курс. Весной 1949 года мы пошли провожать одного из нашей тройки. Он получил диплом и „направление” на работу. Наш друг уезжал на Урал, на завод, где производился материал для атомной бомбы. Было немного грустно. Втроем мы сидели в „Коктейль-холле” на улице Горького, пили что-то сильно бьющее в голову и вспоминали разные смешные истории. Но нам не было весело. В душе каждый сознавал, что пути наши расходятся. „Объект”, на который уезжал наш друг, был, естественно, сверхсекретным. Письма оттуда, наверняка, проверяются, и о чем в таком случае можно писать. О погоде?

Мы пили и не замечали времени, а когда уезжав-

ший взглянул на часы, то схватился за голову. Расплатившись, мы бежали вниз по улице Горького, волоча за собой вещи уезжавшего друга. Когда мы приехали на метро на станцию „Комсомольская“, до отхода поезда оставалось меньше минуты. В распахнутых пальто, красные, запыхавшиеся, мы бежим по перрону и видим, как поезд трогается, медленно набирает ход. Провожающие смотрят на нас с сочувствием и пониманием, а у нас даже нет возможности пожать друг другу руки, обняться. На ступеньке последнего вагона, свесившись, нас ждет молодой военный. Его правая рука свободна, и он ловко ловит брошенный ему чемодан. Кто-то сзади тотчас его перехватывает. Следом летит сумка, за ней портфель. В отчаянном прыжке новоиспеченный физик с помощью того же самого доброжелателя вскакивает на ступеньку и долго стоит там, махая нам рукой. Сведет ли нас жизнь когда-нибудь вместе? Что будет с нами лет через двадцать и даже через десять? Если бы в тот момент я узнал, что со мной случится через тридцать, то, наверное, все качнулось бы передо мной.

Солнечным июньским утром 1949 года я отправился разыскивать отдел кадров Лаборатории № 2 или, как ее переименовали к тому времени, Лаборатории Измерительных Приборов Академии наук, ЛИПАНа. Не имея точного адреса, я ехал так, как мне объяснили. Добравшись на метро до станции „Сокол“, надо пересесть на трамвай, идущий в сторону Покровского-Стрешнева. От трамвайной остановки начинается улица с веселым названием Бодрая. Справа — парк, слева попадаются отдельные дома. Улица упирается в небольшую площадь, за которой виден высокий забор. Вдоль забора надо идти направо, и в конце концов я на-

ткнусь на одноэтажное серое здание. В нем находится отдел кадров.

Месяцев за шесть до этого я заполнил анкету, чтобы получить разрешение делать в ЛИПАНе дипломную работу. Ответ на любой из ее пунктов указывал на стерильную чистоту моей биографии. По национальности русский, я не имел ни малейшего пятнышка, которое заставило бы задуматься самого въедливого и придирчивого работника государственной безопасности. Родственников за границей нет. Никто из моих близких не арестовывался и не подвергался репрессиям. Были, правда, когда-то родители жены моего дяди раскулачены и высланы. С тех пор прошло много времени, дядю убили бандиты, и его жена куда-то уехала. Родственные связи здесь давно прервались. Во время войны на территории, оккупированной немецкой армией, не был. Одним словом, сомнений в том, что все у меня идеально, быть не могло, и вот теперь мне предстояло попасть в одно из наиболее секретных учреждений Советского Союза.

Нужное здание было найдено без особых затруднений. Секретарь предложила немного посидеть и подождать, пока освободится Сергей Константинович. Речь шла о начальнике отдела кадров. Вскоре обитая черным дермантином дверь распахнулась, и из кабинета вышел высокий, спортивного вида молодой мужчина в форме полковника госбезопасности. Он попросил меня подождать еще немного:

— Сейчас они придут.

Кто „они”, объяснять он не стал. Первым пришел мужчина лет сорока с черными колючими глазами и мохнатыми бровями.

— Флеров Николай Николаевич, — представился он. Я догадался, что это брат того самого знаменитого Флерова Георгия Николаевича, который получил

Сталинскую премию. Николай Николаевич не успел задать мне ни одного вопроса, как пришел еще один физик, начальник какого-то сектора.

— Хотите его спросить о чем-нибудь? — обратился Николай Николаевич к вновь пришедшему.

— Какая проблема в ядерной физике кажется вам интересной?

Студенческое время было полно жарких споров о фундаментальных проблемах физики, и одно время я даже собирался стать теоретиком. Но в последний момент я передумал и начал склоняться к экспериментальной физике. К тому же я стал больше интересоваться проблемами практического характера и по чистой случайности назвал ту, которой занимался сектор задававшего мне вопрос. Я начал более подробно излагать свои соображения, но это уже было ни к чему.

— Я готов взять его к себе в сектор, но вы пришли раньше.

Николай Николаевич не собирался меня уступать и сказал, что меня берут в седьмой сектор. Итак, меня берут в сектор, где начальником Георгий Николаевич Флеров. Остается получить пропуск, на что уйдет несколько дней.

Вскоре я, волнуясь, подходил к проходной ЛИПАНа. В проходной дежурили двое парней в штатском. Один из них долго изучал мой пропуск.

— Главное здание там, — охранник указал на трехэтажное желтое здание, видневшееся через деревья. В дверях Главного здания еще одна проверка, и, наконец, я нахожусь в „сердце” ЛИПАНа. Сектор Флерова был на третьем этаже. Здесь, в Главном здании всего лишь шесть лет тому назад началась работа над атомным оружием. Тогда это было недостроенное здание больницы. А теперь на Урале во всю уже идет производство горючего для

бомб. Кроме меня в ЛИПАН попало еще двое ребят с нашего курса.

С завтрашнего дня я по-новому буду ощущать слова, усвоенные на лекциях. Из абстрактных понятий они превратятся в реальные объекты и процессы. Отдел, в котором я начинаю делать мою дипломную работу, называется Отделом Оптических Приборов, хотя никакой оптикой здесь не занимаются. Мне предстоит узнать еще много странных вещей, но к этому надо привыкать. Не удивительно, что записи я смогу делать только в специальном журнале, обычно хранящемся в первом отделе. Изумляться придется тому, например, что хорошо известные физикам частицы, называемые нейтронами, я должен именовать „нулевыми точками”. Нейтроны в огромном количестве испускаются при взрыве атомной бомбы и работе атомного реактора. Говорить о испускании „нулевых точек” при взрыве бомбы — это не столько удивительно, сколько смешно. Но что поделаешь, первый отдел, следящий за соблюдением секретности, тоже „вносит свой вклад” в решение атомной проблемы.

Заместитель начальника сектора, немолодой, с легкой сединой мужчина по фамилии Кутиков сказал, что руководитель моей дипломной работы, Николай Николаевич Флеров, мужчина, с которым я познакомился в отделе кадров, появится только завтра. Сегодня Кутиков может предложить мне одно простое дело: залить находящийся в подвале бак расплавленным парафином. Что же, это было нормальное начало жизни физика-экспериментатора. Скучно? Но что поделаешь, жизнь ученых не переполнена событиями, от которых дух захватывает. Работу я закончил только поздно вечером и усталый пошел домой. Измерения, ко-

торые мне поручил провести мой руководитель, были связаны с изучением плутония — материала, используемого в атомных бомбах. Величина, которую мне предстояло определить, вообще могла быть полезной при расчете критической массы, то есть количества горючего, необходимого для взрыва. Конечно, я понимал, что не первый буду делать такие измерения. Но, может быть, мне удастся повысить точность. Это тоже полезно.

Могло ли меня смущать, что в моей работе я столкнусь с необходимостью делать какие-то измерения, пусть не очень важные, но все же помогающие развивать военную технику, и, в первую очередь, атомное оружие? Нет. Мое поколение не мучило сомнения. Мы „знали“, что мы — самые справедливые, самые лучшие. А поэтому мы имеем право быть сильнее всех. Историческая необходимость — вот что привело нашу страну к победе во время войны. Если на нас выпадет задача похоронить чужой, враждебный нам мир, мы сделаем это без колебаний.

Из окна комнаты, где находилось мое рабочее место, открывался вид на огромную территорию лаборатории. Значительная ее часть все еще оставалась пустырем. Чтобы скрасить вид, кое-где посадили фруктовые деревья, разбили клумбы с цветами. Вдалеке виднелось здание с круглыми окнами-иллюминаторами. В здании-корабле находился ускоритель атомных частиц — циклотрон. Слева виднелась небольшая рощица. Сквозь деревья проглядывала часть крыши. Это был коттедж, который построил мой будущий сосед, а жил в нем Курчатов. Еще дальше за рощей виднелось здание со странным названием Монтажные мастерские. Совсем недавно там был

введен в строй первый советский атомный реактор.

Моими соседями по комнате оказались лаборант Вася и студент из того же института, что и я, заканчивавший дипломную работу. Мы познакомились, и ребята сразу же предложили мне выпить молока, которое находилось в огромной бутылки. Его, как и талоны „на обед”, выдавали за работу с радиоактивными веществами. Как объяснили мне ребята, начальник сектора, Флеров Георгий Николаевич, находится в командировке. Где? Где мог находиться бывший техник-лейтенант, когда-то написавший письмо Сталину по поводу атомного оружия? Естественно, в самом „пекле” — на объекте, где работали над атомной бомбой. Из дальнейшего разговора я узнал, что всего в секторе работают человек пятнадцать — физики, инженеры, механики. Кое-кого мои новые знакомые именовали коротко Вэ-Ка, Эн-Эн, Гэ-Эн, что обозначало Виктор Константинович, Николай Николаевич, Георгий Николаевич. Услышав, что рядом с нашей комнатой находится кабинет И-Вэ, я не сразу догадался, что речь идет об академике Игоре Васильевиче Курчатове.

Всеми делами в секторе заправляет Кутиков, человек мягкий и покладистый. Это он поручил мне в первый день плавить парафин. Что касается Вэ-Ка, то у него всегда куча идей, и вместе с ним всегда работает много студентов. Вообще Вэ-Ка держится независимо и работать с ним хорошо. Вася, который рассказывал мне про сектор, оказался славным парнем, простым и честным. Недаром, как выяснилось, в секторе все любили его. В ЛИПАН Вася попал из армии, и тут обнаружилось, что у него, деревенского парнишки, просто золотые руки. Человек без образования, Вася был незаменим, когда требовалось выполнить тонкую ручную работу. Был у Васи один

недостаток, и он, зная его, но не в силах от него избавиться, страдал. Вася не мог отделаться от усвоенной им где-то привычки во время разговора вставлять в каждую фразу одно, только одно, нецензурное слово. Но Васе это прощалось. Уж больно безобидно оно звучало у него. Остался бы Вася на всю жизнь рукоделом, которого все уважают, но нет, мешали. Уговорили его, следуя „велениям времени”, поступить в вечернюю школу, а затем на вечерний факультет института. Кончилось все это тем, что получил Вася диплом физика и обратился в заурядного инженера, дежурящего на атомном реакторе. Как у него все пошло дальше, не знаю. Потерял я его из виду.

Я довольно быстро сблизился с Эн-Эном, хотя многие не без основания считали его человеком желчным, колючим, склонным к ссорам. Поручив мне в первые же дни спаять радиосхему, он вскоре пришел посмотреть мою работу. До этого я не держал в руках паяльника, и то, что увидел Эн-Эн, было паутиной из проводов. Он произнес что-то язвительное, но, поняв по моему лицу, что продолжать не стоит, уже спокойно взял меня за рукав и отвел в одну из комнат, где работал наиболее опытный радиомонтажник сектора.

— Проведите здесь несколько дней и посмотрите, как надо монтировать радиосхемы.

Это было решение, достойное хорошего учителя, и вскоре я знал много маленьких секретов, которые приходят с опытом. Через некоторое время я обнаружил, что, когда речь заходила о ядерной физике, Эн-Эн был намного слабее меня. Однако там, где надо было искать техническое решение и работать руками, соревноваться с Эн-Эном было невозможно. Довольно быстро мы оба поняли, что вместе состав-

ляем неплохой тандем. Нередко случалось, что домой мы уходили близко к полночи. Вообще это было удивительное время. Редко, когда кто-нибудь уходил с работы в полагающийся час. Окна в Главном здании светились допоздна, и я очень часто видел, как поздно вечером около кабинета Курчатова толпились люди, ожидая начала совещания.

Однажды с утра я заметил в секторе оживление. Оказывается, приехал Георгий Николаевич Флеров. Это случилось недель через шесть после моего прихода в сектор. Гэ-Эн зашел ко мне познакомиться. Крепкого сложения, лысоватый, в кожаной куртке с молнией, видимо, оставшейся от службы в авиации, он был тогда для меня почти кумиром. Расспросив меня о работе, Гэ-Эн ушел, и на другой день его уже не было в ЛИПАНе.

Похоже, что силы, воли, энергии у Гэ-Эн хватает, и даже с избытком. И это не все. Хоть и ходят про него слухи, что он „зжимала”, но в разговоре с ним чувствуешь, что есть в нем что-то притягательное. К посредственностям его никак уж не причислишь.

Несколько месяцев, которые я провел в ЛИПАНе, занимаясь дипломной работой, оказались достаточными, чтобы составить представление об этой лаборатории. Здесь в Главном здании были сделаны первые шаги к атомной бомбе. Здесь зарождались и обдумывались планы работ, в которые были вовлечены тысячи людей разных специальностей — химики, металлурги, механики. К тому времени, когда я пришел в ЛИПАН, Главное здание было уже небольшой частью всей лаборатории. К этому времени работы над атомной бомбой переместились в место, удаленное от Москвы, а за ЛИПАНОм сохранилась роль лаборатории, где проводились исследования, направленные на поиск

новых путей использования атомной энергии, а также теоретические разработки в области ядерной физики. Группа Флерова, в которой я оказался, в значительной степени была поглощена изучением деления атомных ядер.

Словно густой туман, ЛИПАН окутывал дух секретности. Писать разрешалось только в специальных журналах. По окончании работы надо было в присутствии сотрудника охраны и пожарника наклеить на веревочку, пересекающую обе половинки двери, пластилин и поставить на него с помощью латунной „печатки” свой номер. Доступ к отчетам о научных исследованиях, хранящимся в первом отделе, был ограничен, и молодые физики, вроде меня, не знали даже названий имеющихся отчетов. Все это порождало атмосферу некоторой настороженности, и, общаясь с знакомыми из других секторов, я не спрашивал их, чем они занимаются. Они тоже не спрашивали меня.

По мере того, как приближался срок защиты дипломного проекта, все чаще возникал вопрос, куда я попаду работать. Встречая иногда по дороге в лабораторию знакомых студентов, я спрашивал их о перспективах остаться в ЛИПАНе, и они интересовались тем же. Конечно, мы не опасались остаться без работы и, более того, были уверены, что нас будут „рвать на части”. Ведь нужда в физиках была очевидна.

Месяца за два до окончания дипломной работы Эн-Эн сказал мне, что на меня направлена заявка в министерство. Меня хотят оставить работать в секторе, и Курчатov подписал нужную бумагу.

Наши дипломы „обмывались” в ресторане „Арагви”. По этому торжественному случаю нам удалось добыть любимое вино самого Сталина „Хванчкару”. Мы ели шашлыки, все были довольны. Каждый у же

знал место своей работы. Оставались некоторые формальности — получение в министерстве „путевок” на работу. Была полночь, когда мы вышли на Пушкинскую площадь. Кто-то затянул песню. Мы дружно подхватили ее, но к нам подошел милиционер. Признав нас за вполне солидную публику, он попросил соблюдать тишину:

— Уже поздно, ребята.

На другой день я отправился на Солянку, где находилось наше министерство. В бюро пропусков нас ждали листочки с нашими фамилиями, и там же была указана комната, где мы получим нужные документы. Со мной были двое моих сокурсников, как и я делавших дипломные работы в ЛИПАНе. В комнате, куда мы пришли, склонившись над бумагами, сидел полковник НКВД. Мои сокурсники быстро получили документы и ушли. Очередь дошла до меня.

— Вот ваша путевка. Распишитесь в правом нижнем углу. — Кадровик пододвинул ко мне небольшой листок. Я взял ручку и собирался уже было расписаться.

— До работы доберетесь следующим образом. С Киевского вокзала на поезде доедете до станции...

Я уже не слушал далее, что объяснял полковник. Меня направляют в Обнинск. Я знал, что в Обнинске занимаются делами практическими, связанными главным образом, с атомными реакторами. Накопление ядерного горючего. Этой проблемой руководит знакомый мне профессор. Он читал у нас лекции по расчету атомных реакторов, и мне всегда нравился. Кажется, он спокойный и доброжелательный человек. Оказывается, он обратился в министерство с просьбой направить меня к нему после защиты дипломного проекта, и ми-

нистерство решило вопрос в его пользу. Как поступить? Наверное, все же лучше остаться в ЛИПА-Не. Работа мне нравится, и я, похоже, стал уже своим человеком в секторе Гэ-Эн. Я отложил ручку в сторону.

— Мне сказали, что из ЛИПАНа на меня послана заявка.

— Какой еще ЛИПАН? Подписывайте путевку и поезжайте туда, куда вас посылают.

— Нет, — упрямо настаивал я.

Полковник начал злиться:

— Кончайте дурака валять. Мне некогда с вами возиться.

— Я не подпишу путевку. Дайте мне позвонить в ЛИПАН.

— Ах, вот как. Сидите в коридоре, пока не надумаете подписать. Пропуск я вам не дам.

Мне ничего другого не оставалось, как сидеть в коридоре, смотреть на унылую зеленую стену и ждать. Минут через двадцать дверь приоткрылась:

— Заходите. Ну как, надумали подписать? Нет? Вы не уйдете отсюда, пока не подпишете. Ваше желание работать в ЛИПАНе нас не интересует.

Хорошо бы встать и уйти из этого проклятого министерства, но в проходной дежурят солдаты. Не встанешь и не уйдешь. И невольно вспомнился давно забытый случай. Шел август 1943 года. Было голодно, и я решил сходить за грибами. Рано утром я доехал до села Измайлова и углубился в лес. Ничего не попадалось, и я решил вернуться домой. Где-то урчал трактор. Я пошел на звук. Открылась поляна. Я увидел группу офицеров, о чем-то живо беседующих. При виде меня они замолчали и все обернулись в мою сторону. Один из них поманил меня пальцем:

— Ты как сюда попал?

— За грибами ходил, а теперь к трамвайной остановке иду.

— Пошли.

Через несколько минут около палатки, куда меня посадили, стоял солдат с автоматом. Вскоре в палатку заглянул капитан. Наверное, особист:

— Давай рассказывай, зачем ты сюда пришел. Кто тебя послал?

Мне пришлось вновь повторять свою нехитрую историю, и я ждал, что сейчас капитан скажет мне, что я могу идти домой, и покажет путь к остановке. Но не тут-то было.

— Кончай дурака валять. Я с тобой не собираюсь чай гонять. Кто тебя послал?

Разговор становился неприятным. Мои объяснения не помогали.

— Я вернусь через полчаса, и тогда ты мне все расскажешь. Не спеша, по порядку, и главное кто тебя послал.

В таком духе с перерывами в час-полтора разговор продолжался до самого вечера. Становилось холодно. Я уже несколько раз повторил, что учусь в авиационном техникуме, но капитану ужасно хотелось, чтобы я в чем-то признался, и он грубо напоминал мне, что я не „в гостях у тещи”. Дома, наверное, волнуются. Ведь почти восемь часов вечера.

— А ну выходи, — мы подошли к грузовику. — Залезай в грузовик, но не вздумай убежать. Он стрелять будет.

Капитан указал на лейтенанта с букетом цветов, тоже полезшего в кузов. Грузовик довез нас до трамвайной остановки, и мы пешком пошли вдоль трамвайной линии. Я понял, что сейчас мое приключение кончится. Лейтенанту явно было не до меня. Он спешил на свидание.

- Какой это район?
- Сталинский.
- А куда этот трамвай идет?
- В Сокольники.

„Шерлок Холмс” был удовлетворен и отпустил меня, посоветовав больше не попадаться.

Предавшись воспоминаниям, я задремал. Стало удивительно уютно, и я забыл про свои теперешние неприятности.

— Заходите, — вернул меня к действительности голос полковника.

— Дайте мне позвонить в ЛИПАН.

— Ладно, звоните. Только это бесполезно.

Заместитель начальника отдела кадров, до которого мне удалось добраться, сказал, чтобы я не подписывал никаких бумаг. Я с торжеством опустил телефонную трубку. Если надо, теперь я готов переночевать в министерстве. Это даже интересно. В ЛИПАНе знают, где я нахожусь, и выручат. Когда я подтвердил полковнику, что подписывать путевку не буду, тому, похоже, уже все было безразлично.

— Возьмите ваш пропуск, — без всякой злости, равнодушно, кадровик протягивал мне пропуск. На другое утро улыбающийся Вэ-Ка сказал, что приказ о моем зачислении в сектор Флерова подписан.

Начало моей работы в ЛИПАНе, уже в качестве полноправного сотрудника с причитающимися талонами на молоко и обед, совпало с моментом триумфа Курчатова и тех, кто вместе с ним взялся за производство атомной бомбы. После взрыва на причастных к нему посыпались награды. Поток золотых медалей, ордена, сталинские премии, дачи, автомашины. Советскому правительству было за что благодарить ученых. И оно не скупилось, ожидая от ученых еще большего. Например, водородной бомбы. На-

до сказать, что в ЛИПАНе известие об успешном испытании атомной бомбы было встречено с ликованием. Ведь каждый понимал, что наша лаборатория — это основание советского атомного гриба. И никому в голову не приходило начать рассуждения об опасности атомной войны. Все происходящее воспринималось лишь как некое соревнование с американцами. При этом было совершенно ясно, что никто враждебных чувств по отношению к ним не испытывает. Засиживаясь допоздна в своей комнате, я часто слышал, как мимо, весело насвистывая, проходит Курчатов. У него были причины радоваться — успех был очевиден.

Среди счастливиц оказался и начальник нашего сектора Гэ-Эн. Он стал Героем Социалистического Труда, получил Сталинскую премию. Ему подарили дачу и автомашину „Победа”. Трудно было представить себе более удачливого человека. Но, видно, что-то не ладилось у моего шефа в отношениях с людьми. Поговаривали о каких-то трудностях, появившихся у него „там”, на востоке, где работали над ядерным оружием. Я не знал подробностей, да и не интересовался ими. Для меня Гэ-Эн оставался героем. Тем временем в секторе начали поговаривать, что скоро он перестанет ездить на восток.

После защиты дипломного проекта я продолжал некоторое время свои опыты, но работа не ладилась. Недавно умерла моя мать, и я был в подавленном настроении. Опыты я делал совершенно один и, в конце концов, понял, что аппаратура нуждается в серьезной переделке. К тому же интерес к моей задаче явно упал.

В это время Эн-Эн вместе с одним из физиков начал сооружать небольшую экспериментальную уста-

новку, которую мы на нашем научном жаргоне называли ускорительной трубкой. В миниатюре на этой „трубке” воспроизводился процесс сгорания водорода, происходящий на Солнце, и впоследствии реализованный в водородной бомбе. Случилось, однако, что коллега Эн-Эна приглянулся академику Курчатову, и тот сделал его своим заместителем по делам, связанным с производством плутония для бомб на одном из уральских заводов. Я прервал свои опыты и присоединился к Эн-Эну. Началась бесконечная возня с трансформаторами, насосами и прочей техникой.

Прошло несколько месяцев, и, наконец, наступил долгожданный момент, когда наша трубка „задышала”. В стеклянной колбе вспыхнул электрический разряд, загорелась красная лампочка — сигнал того, что включено высокое напряжение, и прибор в углу комнаты начал регистрировать нейтроны, или, как их полагалось называть, „нулевые точки”.

Мы не могли работать в Главном здании, где находилось много людей. Радиация от нашей трубки была опасна для окружающих, и поэтому наши опыты мы продолжили в специально для нас построенном домике с толстыми бетонными стенами. Эн-Эн был склонен продолжать усовершенствование нашего детища, „вылизывать” установку, но темперамент его нетерпеливого младшего брата пересилил. Мы начали запланированный опыт. На сей раз речь шла об измерении некоторой величины, которая могла заинтересовать людей, работавших над водородной бомбой. Мы справились с задачей и, наконец, определили нужную величину с достаточно хорошей точностью.

Однажды вернувшись с обеда, я застал Эн-Эна рассказывающим о наших опытах высокому молодому мужчине.

— Андрей Дмитриевич Сахаров, — произнес он, указывая на гостя. — Познакомьтесь.

Ничего необычного во внешности Сахарова я не заметил, но было в нем нечто, отличавшее его от знакомых мне физиков. Сахаров, похоже, умел слушать — дар, далеко не всем свойственный. Сахаров не спорил с Эн-Эном, не перебивал того, а лишь молча слушал. И терпеливо ждал, когда Эн-Эн кончит свои пространные объяснения. После этого Сахаров задал несколько вопросов и ушел. Я сразу же забыл про нашего посетителя, поглощенный какими-то неотложными делами, и вспомнил его лишь, когда услышал его имя после первого взрыва советской водородной бомбы. Мне стал понятен его интерес к цифре, которую мы измеряли. Я не удивился, что Сахарова сразу же избрали в академики, но никак не мог предположить, что этот человек через некоторое время привлечет к себе внимание всего мира, как ученый, для которого свобода — высшая из человеческих ценностей.

Наконец настало время писать отчет о наших измерениях. Я начал подготавливать рисунки, но как-то меня позвал к себе Гэ-Эн и шутливо спросил, не надоело ли мне работать с его братом. Вопрос был задан неспроста. Оказывается, Гэ-Эн хотел предложить мне провести некоторые измерения вместе с Кутиковым. Раз нужно, я начну опыты с Кутиковым, а отчет закончат без меня. Когда он был напечатан, я прочитал его и страшно удивился, не обнаружив себя среди авторов. Что же в таком случае я делал весь год? Это, ежели не считать дипломную работу, был мой первый научный труд, и, работая, я не жалел сил. Есть нужная цифра, но к ней я, оказывается, не имею никакого отношения. Выходит, целый год я гонялся за миражем, за призраком. Зато среди авторов кроме братьев Флеровых, я вижу нового со-

трудника сектора, присоединившегося к нам месяца за четыре до окончания работы. Почему такая несправедливость? Я ничего не имею против моего товарища по работе, поскольку он принимал участие в опытах. Но почему единственным письменным свидетельством моего участия в работе является административное взыскание за оплошность, допущенную новым сотрудником сектора.

История, за которую Эн-Эну и мне вlepили по выговору, могла обернуться настоящим ЧП, чрезвычайным происшествием с самыми печальными последствиями. Однажды вечером, обсуждая опыт, мы решили с Эн-Эном проверить что-то, не дожидаясь следующего дня. Я пошел в комнату, где в свинцовом контейнере хранилась ампула с радием. Ампулы на обычном месте не было. Что случилось? Мы обеспокоились, быстро пристроили измерительную аппаратуру на столик с колесами и начали его катать по домику. Приборы молчали. Значит, ампулы в домике нет. Расстроенные, мы ушли домой. Утром мы узнали, что наш новый сотрудник положил ампулу на пол в углу комнаты и забыл про нее. Начались расспросы уборщицы.

— Такая маленькая штучка? На веревочке? Я ее в мусорный ящик бросила.

Дело происходило перед Первым Мая, и территорию очищали от мусора. Мы выглянули в окно. Недалеко от нашего домика стоял грузовик, груженный мусором.

— Бегите, остановите его, — обратился ко мне встревоженный Эн-Эн, — а вы, Виктор, бегите за дозиметром.

Нам повезло, ампула оказалась в мусоре. А что было бы, окажись она на одной из московских свалок? пришлось бы нам ворошить тонны гниющего хлама. Выговор на листе бумаги с грифом в правом

верхнем углу „Совершенно секретно”, возможно, был подколот в папку, хранившуюся в той же самой комнате первого отдела, куда попал и отчет о наших измерениях.

Уходя из домика, где я работал более года, я предчувствовал, что никогда более уже не вернусь сюда. После истории с отчетом никакая сила не заставила бы меня работать с Эн-Эном, хотя я не знал, кому из Флеровых и по какой причине пришла в голову мысль не включать меня в авторы работы. Конечно, в целом у меня оставались хорошие воспоминания о работе с Эн-Эном, учившем меня работать руками. Не знаю, жалел ли Эн-Эн о моем уходе. Он ушел из моей жизни, и с какого-то момента фамилия Флеров однозначно ассоциировалась с Георгием Николаевичем, Гэ-Эном.

Работа с утра до ночи разрывала связи с внешним миром, сжимала его до нескольких комнат, где на столах лежали паяльники, резиновые перчатки, и стучали насосы. Оставалась дорога от дома до лаборатории в плотно набитых пассажирами вагонах метро. Здесь, уцепившись за алюминиевые поручни, можно было с книгой в руке на время отвлечься от раздражающих мыслей, почему я целый месяц не могу очистить уран от каких-то загрязнений или как открыть контейнер с порошком плутония, у которого заклинило крышку. Правда, в это время можно было и пофантазировать о новых опытах, не имеющих никакого отношения к нынешней работе.

Друзья студенческих лет уехали из Москвы, новых я не завел. Иногда в воскресенье я отправлялся навестить друзей детства. Те из них, кто уцелел во время войны, не были учеными. Вернувшись с войны с орденами и ранами, они были теперь простыми рабочими. Встречи с ними обычно сопровождались

выпивками, а когда приходили знакомые девчата, мы пели песни и танцевали.

Летний отпуск заставал врасплох, и я удирал из Москвы куда-нибудь на юг, в теплые края, к Черному морю. Как-то, оказавшись в горах, на Кавказе, я вместе с группой туристов вышел в красивую зеленую долину. Вокруг не было видно ни одного дома.

— А вы знаете, где мы сейчас находимся? — спросил один из спутников, хорошо знавший эти места. — Вы видите конский щавель? Это признак человеческого жилья. Здесь когда-то был аул, о котором Лермонтов писал „Велик, богат аул Джемат, Он никому не платит дани...”. Конский щавель — это все, что от него осталось.

Я мало знал о том, как с Кавказа в Сибирь эшелонами отправляли горцев, понадеявшихся, что война избавит их от советской власти. Аул Джемат, или его звали уже иначе, сравнивали с землей. Однако психология завоевателя пустила свои ростки и во мне, и я не подумал, как ужасно должны были выглядеть склоны прекрасных гор, когда солдаты НКВД пинками гнали к грузовикам плачущих детей и женщин.

За Клухорским перевалом по дороге к Сухуми к нам присоединилась группа альпинистов, а также милиционер с винтовкой, на лошади. Слева над дорогой нависали скалы, справа был обрыв. Временами дорога круто уходила вниз, в лощины, заваленные снегом. На одном из таких „снежников” шедшая первой девушка-альпинистка вскрикнула, раздался выстрел, сопровождавший группу проводник из кавказцев, стянув с себя яркую майку, вытащил пистолет и вместе с милиционером открыл стрельбу. В ответ несколько раз выстрелили, и все смолкло. Оказалось, что, выйдя на „снежник”, девушка увидела мужчину с винтовкой, испугалась, закрича-

ла и, сев на снег, заскользила на незнакомца. Тот, видимо, от неожиданности выстрелил. Проводник сказал, что скорее всего это был кто-то из карачаевцев, бежавших из Сибири.

Эксперимент, начатый вместе с заместителем Флерова Кутиковым, длился недолго. Его трудно было бы назвать красивым и элегантным, и было ясно, что его результаты никогда не войдут в учебники. Как уже стало для меня привычным, мы работали с плутонием. Вопрос, который стоял перед нами, был прост. Можно ли найти условия, когда сгорание плутония в атомном реакторе будет сопровождаться накоплением нового горючего? Но это было не все. Ежели нам повезет, то не исключено, что откроется путь к атомной бомбе с небольшим количеством вещества, необходимого для осуществления взрыва. Ответ мы пытались получить как можно скорее и наиболее простыми средствами. Со стороны, для человека несведущего, подготовка к опытам вряд ли напоминала научную работу. В подвале мы плавил парфин и смешивали его с черным порошком карбида бора, обычно используемого, как абразивный материал. Этой смесью мы заполняли жестяные сосуды различной формы.

Результаты нашей работы не вызвали у нас восторга. Сенсации, судя по всему, не предвиделось. Мы быстро пишем отчет, который ложится на одну из бесчисленных полок первого отдела.

Мне и Кутикову скучать, однако, не приходится, и мы сразу переходим к новым делам. Кутиков вместе с Гэ-Эном уезжает на Урал, а я приступаю к определению очередной цифры, интересующей кое-кого из специалистов по атомным реакторам. Для человека с улицы название моей работы звучит ка-

кой-то тарабарщиной. Для меня это прежде всего металлический шарик из плутония весом граммов на двести. Такую штучку могут сделать только там, куда уехали Кутиков с Гэ-Эном. Чтобы получить ее, я нарисовал чертеж и через первый отдел отправил его по нужному адресу. Подготовив измерительную аппаратуру, я ждал, когда шарик из плутония придет в ЛИПАН, но однажды меня вызвал к себе Курчатов. Послезавтра он уезжает на Урал, в Челябинск-40. Мне надо срочно подготовить к отъезду свою аппаратуру, потому что Курчатов возьмет меня с собой. Это было в первых числах января 1953 года.

На перроне Ярославского вокзала стоял поезд „Москва—Свердловск”, последний вагон которого был предназначен для Курчатова. Это был вагон с застекленным салоном; я никогда ни до этого, ни позже не видел таких вагонов. Вместе с Курчатовым ехала его жена Марина Дмитриевна, двое охранников и директор одного из институтов, академик, специалист по металловедению.

Поезд тронулся. Я сидел в своем купе и читал книгу, когда Игорь Васильевич заглянул и, улыбаясь, предложил „слегка перекусить”. Обед был с водкой, но пили главным образом охранники и я. Марина Дмитриевна следила очень внимательно, чтобы Курчатов не выпил лишнего. Кажется, не все в порядке с его здоровьем. На другой день мы прибыли в Свердловск, и сразу же в вагон принесли телеграмму Курчатову с сообщением о награждении его орденом Ленина. Оказывается, в тот день ему исполнилось пятьдесят лет. Похоже, Курчатов ловко перехитрил всех и ускользнул от юбилейной суматохи. Вагон отцепили от состава, загнали в какой-то тупик и приставили к нему солдата с автоматом. Мои спут-

ники отправились погулять по городу и купить бутылку вина. Я плохо спал ночь и вежливо отказался от прогулки, решив вместо этого подремать.

Вечером мы играли в карты, и все были в веселом настроении. Курчатов начал шутливо приставать ко мне. Днем он спросил, чем пиво „Жигулевское” отличается от „Московского” и теперь за столом начал вновь „пытать” меня. Я, как мог, отбивался, но развеселившийся Курчатов придумывал все новые вопросы. Почувствовав мое смущение, жена Курчатова вступилась за меня, и тогда Курчатов „перевел огонь” на одного из своих охранников, лысого верзилу. Тот, видимо, привыкший к этому, стал охотно подыгрывать.

— Слушай, Переверзев, ты в баню давно ходил?

— На прошлой неделе, Игорь Васильевич.

— Конечно, как всегда, в Сандуны?

— А куда же еще.

— Небось, как обычно, с дружкой своим?

— Угу.

— Веничками за милую душу друг друга хлестали?

— Как полагается.

— То-то я вижу, что ты с трудом сидишь. Сознайся, после бани здорово поддали?

Переверзев подтвердил, что „было дело”, и началось уточнение по поводу количества выпитой водки, а также закуски. Разговор о Сандунах был внезапно прерван. Поздравить Курчатова пришел академик Кикоин. Он был руководителем одной из программ, относящейся к производству атомных бомб. В ЛИПАНе он руководил одним из научных отделов, но сейчас приехал с завода, где накапливалось ядерное горючее.

Поздравив Курчатова с днем рождения, Кикоин сказал, что хочет сделать ему небольшой подарок.

На темной пластинке изогнулась зеленая ящерица из малахита. Рядом с ней каллиграфическим почерком было вырезано „Победителю от побежденного”. Курчатов взял ящерку, покрутил, слегка улыбнулся и, сделав удивленный вид, спросил, что это такое. Кикоин молчал, академик-металловед недоуменно покачал головой, и тогда, забрав бороду в кулак, Курчатов с хитрым видом обратился ко мне:

— А ты знаешь, что все это означает?

Уже за минуту до этого меня озарило. Ведь на пластинке вовсе и не ящерица, а тритон — маленькая саламандра. Сколько раз я ловил сачком в прудах этих тритонов, когда еще мальчишкой охотился за всякими тварями. Тритон — так одно время называли тритий, сверхтяжелый водород, нужный для водородной бомбы. Тритон — побежденный, покоровившийся Курчатову. Я понял, что речь идет о водородной бомбе. Скоро в очередной раз Курчатов станет победителем.

— Не знаю, Игорь Васильевич, — дипломатично уклонился я от ответа.

В конце лета я узнал об успешном взрыве первой советской водородной бомбы.

Неожиданно уральская командировка затянулась. Мои опыты, ради которых я приехал на Урал, были отложены на неопределенное время, а я оказался втянутым в измерения критических масс. Вместо маленького плутониевого шарика предстояло иметь дело с килограммами плутония и это было уже отнюдь не безопасное занятие. Ведь время от времени мы, можно сказать, „выпускали из бутылки джина”. Это происходило в тот момент, когда начиналась цепная реакция, как в атомной бомбе. Это могло кончиться неприятностями, и поэтому мы работали в удаленном от других здании.

Я жил в гостинице, и от города до нашего „хозяйства“ добираться приходилось довольно долго. Минут двадцать надо ехать на автобусе, а потом идти столько же лесом. Я впервые был на Урале и испытывал настоящее удовольствие от здешней зимы. Небо ясное и высокое, сильно морозит, но ветра нет. В лесу тихо, под ногами хрустит снег. Дышится удивительно легко. Мы каждое утро повторяем один и тот же путь и по дороге говорим о наших опытах. Для них нам выделили отдельный павильон, и кроме нас там никто не работает. С утра девушка из первого отдела приносит наши лабораторные журналы, а вечером забирает их обратно. Иногда заходит Курчатов посмотреть, как идет наш эксперимент. Удивительный был человек — когда он появлялся, сразу же возникала атмосфера какой-то приподнятости. Весело поблескивая глазами, Курчатов разглаживал бороду, и казалось, за этим человеком пойдешь куда угодно, без оглядки. Иногда Курчатов подсмеивался над чем-то, но шутки его не были обидны.

Наши опыты выглядели очень просто. Кажется, даже чересчур просто. Для начала мы делали что-то вроде слоеного пирога. Пластина из плутония — пластина из полиэтилена, пластина из плутония — пластина из полиэтилена... Все это закреплялось на устройстве вроде домкрата, которым пользуются автомобилисты при замене колеса. Как у всякого домкрата, у нашего тоже была ручка, которую надо было крутить. Флеров не доверял эту операцию ни мне, ни Кутикову.

Ручка медленно поворачивается, наш „пирог“ медленно вползает в урановый цилиндр, а мы прислушиваемся. Динамик в углу комнаты молчит. Значит, надо добавить еще плутониевую пластину и, конечно, полиэтиленовую. Динамик по-прежнему

молчит. Добавим плутония еще. Главное — терпение. Наконец динамик начинает слегка постукивать. Внимание! Мы приближаемся к критической массе. Теперь нужна предельная осторожность. Важно, чтобы не началась неуправляемая цепная реакция. Если это случится, беда, и скорее всего непоправимая. Шаг за шагом мы приближаемся к критической массе. Занимаясь этим, мы не только слушаем динамик, мы рисуем в лабораторном журнале крестики. Из них складывается линия. Мысленно продолжая ее, мы догадываемся, когда должна начаться цепная реакция. Тогда динамик словно взбесится и с каждой секундой начнет учащать свой стук. С этого момента наша „игрушка” перестает нам подчиняться. С секундомером в руках мы, убежав за бетонную стенку, следим за убыстрением барабанной дроби динамика. Через минуту он начнет выть, но мы этого не допустим. Для этого надо будет дернуть за тоненький тросик. Произойдет чудо — в урановом цилиндре откинется дверка и наступит тишина.

Однажды случай напомнил нам, что он — истинный хозяин нашей жизни.

Как обычно, мы работали с плутонием. Репродуктор молчал, и мы добавляли плутониевые пластины. Флеров медленно крутил ручку домкрата, а Кутиков и я стояли рядом. Вдруг Флеров застыл, и лицо его стало белым.

— Нейтронный источник на месте? — хрипло пробормотал он наконец.

Кутиков на мгновение словно окаменел, потом засуетился, забегал, бросился к окну. На подоконнике лежала ампула с радием, перемешанным с бериллиевым порошком, а полагалось ей быть прикрепленной к урановому цилиндру. Без этой ампулы момент приближения к критической массе остался бы незамеченным. Страшно подумать, что ждало

нас. На сей раз поток нейтронов начал бы нарастать с огромной скоростью. Установка наверняка вышла бы из-под контроля. Если учесть, что в нашей „сборке” бывало более десяти килограммов плутония, мы, возможно, были близки к атомному взрыву небольшой мощности. Скорее всего наш домкрат вышибло бы взрывом и начался пожар. Мощность первой атомной бомбы была равна, примерно, двадцати тысячам тонн взрывчатки, на нас хватило бы пятидесяти килограммов. Оказалось, что Кутиков, сняв по какой-то причине ампулу с радиом с уранового цилиндра, не поставил ее на место. Забыл. Здесь было наше слабое место. Отсутствовала „защита от дураков”. Не было сигнализации, запрещающей работу без ампулы. По-моему, Кутиков не слышал той матерщины, которая обрушилась на его бедную голову. Он был где-то далеко.

Мне приходилось впоследствии встречать тех, кому не повезло. Один из них, мой сокурсник, попал в аварию в обстановке, наверное, напоминавшей нашу уральскую. Взрыва не было, но было чудовищное переоблучение. Физику отрезали кисть правой руки. И он почти ослеп. Но жить надо было, хотя экспериментальной работой он не мог больше заниматься. В течение нескольких лет пострадавший потихоньку работал, систематизировал экспериментальные данные. Наконец он даже написал диссертацию, но за день до ее защиты умер.

Во время моей уральской командировки познакомился я с двумя механиками из ЛИПАНа. Они работали в другой группе, но иногда помогали нам. Потом они вернулись в Москву, и вскоре один из них „погорел” на критической сборке. Кроме него пострадали несколько человек, но не так сильно, как он. Среди них был физик из нашего сектора. Физик долго лежал в больнице, а когда вернулся в

сектор, выглядел бледным и усталым. Расспрашивать его об обстоятельствах аварии было неловко. Какой-нибудь недосмотр, мелкая оплошность, и мгновенно ужас пришел на смену шутке или обычному спокойному разговору. Цепная реакция не контролируется и поток радиации таков, что воздух начинает слегка светиться. Кто-то застыл от страха, а кто-то голыми руками пытается вытащить кусок урана, остановить цепную реакцию. Что было с механиком, знакомым по уральской командировке, не знаю. Ему чуть ли не все бедро отрезали.

Наконец Флеров с Кутиковым уехали в Москву, а я остался заниматься тем делом, ради которого приехал на Урал. Аппаратура работала исправно, и я чувствовал, что проведу опыт без особых затруднений. Я даже помогал в обработке накопленной за последние месяцы информации. Вместе с моим приятелем я делал расчеты, рисовал графики.

Он, физик из Ленинграда, после окончания университета направленный работать на „объект”, жил недалеко от гостиницы. В шутку я звал его „мой друг из Питера”. Вечерами после работы мы часто гуляли по заснеженным улицам, а потом, промерзнув, отправлялись ко мне играть в шахматы. Иногда для разнообразия мы ходили в кинотеатр, расположенный в небольшом деревянном бараке. В то время показывали итальянский фильм „Песни на улицах”, и было каким-то чудом видеть улицы Рима, с замиранием сердца слушать итальянские мелодии. В „зоне”, обнесенной на много километров колючей проволокой и усиленно охраняемой, это действительно было чудом. На солнечных итальянских улицах страдали от безнадежной любви, а в ста метрах от нас конвоиры с собаками прогоняли колонны арестантов. Какие работы делали эки на предприятии, производившем плутоний для

атомных бомб, я не знаю. Возможно, строительные, но нельзя исключить, что на их долю выпадали и какие-нибудь операции с радиоактивными веществами.

Вечерами город, где готовили горючее для атомных бомб, выглядел удивительно мирно. Улицы были пусты, хрустенье снега под ногами не заглушалось шумом автомашин. Уютно светились окна, особенно в районе коттеджей, где жило начальство. Мне казалось, что так должна выглядеть Канада. Однако для жителей города, зарабатывавших огромные деньги, он стал проклятьем. Выехать из него было практически невозможно, и дети здесь росли, не увидев ни разу настоящего самолета. Много лет спустя я узнал, какой лютой ненавистью ненавидели местные люди высокопоставленных чинов НКВД, чьи жены и дети запросто катались в Москву. И что оставалось? Пить водку на вечеринках и затевать романы с женами знакомых?

Хозяином города был генерал Ткаченко. Ужасный самодур, он ухитрялся издеваться даже над солдатами, служившими в охране. Как мне рассказывали, позднее его расстреляли вместе с его шефом Берия. Заместителем Ткаченко был его дружок, некий Рыжов, старый член партии. Рыжов уцелел, но был понижен в должности. Впоследствии он оказался на должности помощника директора международного института в Дубне под Москвой. В задачу Рыжова входило следить за „соблюдением режима”, то есть приглядывать за учеными. Однажды мой знакомый разговорился в поезде, идущем в Дубну, с незнакомой женщиной. Узнав, где живет мой знакомый, она спросила его:

— У вас жил такой Рыжов. Эту сволочь еще не прибили?

Женщина помнила его со времени жизни на Урале.

Известие о смерти Сталина, заставшее меня на Урале, не опечалило ни меня, ни моего друга. В разговорах мы вполне доверяли друг другу и не раз говорили откровенно о „деле врачей” вскоре после моего приезда на Урал. Нас обоих и наших родственников не коснулись репрессии, но надо было быть слепым, чтобы не разглядеть в Сталине жестокого диктатора. Мы гадали, что будет, и поражались той странной печали, которая охватила некоторых. Из репродукторов лились траурные мелодии, и многие люди выглядели подавленными, хотя благодарить Сталина им, в общем, было не за что. Так девушка из первого отдела, ежедневно выдававшая нам лабораторные журналы, прошла мимо, не узнав нас. Ее глаза были полны слез. О чем ей было сожалеть? Ведь это по милости Сталина она, не принадлежавшая к высокопоставленным энкаведешникам, не могла во время отпуска поехать в Крым или на Кавказ. На другой день после похорон Сталина был назначен митинг на центральной площади, но в последний момент его отменили. Мы не понимали, в чем дело. Через неделю из Москвы приехал знакомый физик и рассказал, что в Москве во время похорон Сталина началась давка, и много людей погибло.

Я соскучился по Москве. Наверное, там уже снег растаял, и на подсохших тротуарах девочки рисуют мелом квадратики и скачут на одной ножке. И девушки весной в Москве выглядят более красивыми, чем обычно. Три месяца проскочили незаметно. Я упаковал аппаратуру для отправки в ЛИПАН и ждал, когда генерал Ткаченко подпишет разрешение на выезд из опостылевшего города. „Мой друг из Питера” поехал со мной на автобусе до выезда из „зоны”. Кроме меня уезжали двое незнакомых мне

мужчин. На границе „зоны” автобус остановился, и мы вылезли из него. Старший лейтенант внимательно просмотрел наши документы. Все в порядке, можно ехать дальше. Из автобуса я помахал рукой своему приятелю. Было странно смотреть на него, „свободного человека”, не имеющего права выйти за ограду из колючей проволоки. Автобус довез нас до маленькой железнодорожной станции с чудным названием „Кыштым”. Поезд на Челябинск проходил через Кыштым в полночь, и ждать его надо было несколько часов. Скучать, однако, не пришлось. Станция, буквально, кишела народом. Недавно прошла амнистия. помиловали, разумеется, только уголовников, и одна из их групп ждала того же поезда, что и я. Из темноты доносились блатные песни. Где-то играла балалайка. Среди веселящейся толпы шлялся солдат с автоматом, приставленный наблюдать за порядком. Его подопечные перекидывались с ним шутками. По их содержанию можно было догадаться, что по уровню культуры охранник несколько не отличался от начавших „гулять” урок.

Свой путь из Челябинска в Москву я продолжил самолетом. Глядя сверху на еще покрытые снегом леса, я думал о последних трех месяцах, проведенных на Урале. Ясно, что „маленькой атомной бомбы” не получится. Позднее, в 1955 году, по предложению Курчатова Флеров рассказал о наших опытах на сессии Академии наук. В докладе было сказано, что „атомные реакторы на промежуточных нейтронах вряд ли могут быть полезны для воспроизводства ядерного горючего”. Конечно, об истинных целях нашей работы не говорилось.

2. НЕОНОВЫЙ СВЕТ

Обычно, возвращаясь в Москву после долгого отсутствия, я ожидал каких-то неожиданных приятных новостей. Как правило, я находил все без перемен. Так случилось и после возвращения с Урала. На сей раз, однако, основания найти что-то новое были. Как-никак недавно умер Сталин и, значит, кончилась целая эпоха в жизни страны. Но все оказалось на своем месте. Портреты Сталина висели там, где и раньше, и народ на улицах спешил куда-то, равнодушный ко всему, кроме своих забот. Похоже, смерть Сталина лишь на короткое мгновение всколыхнула московскую жизнь, и люди уже привыкли к тому, что без Сталина не произошло катастрофы. В то же время, глядя на будничную Москву, я чувствовал, что у меня на самом дне души рождаются смутные предчувствия. Перемены будут, но пока еще время для них не пришло. Страной правят люди сталинской школы, но среди них нет никого, кто мог бы претендовать на роль „вождя”. Пройдут годы, и они начнут уходить. Портреты Сталина останутся висеть на старом месте, но для новых поколений они утратят свой символический смысл. И вряд ли появится новый человек, желающий, чтобы его „обессмертили” при жизни. В век торжества науки этого больше не должно случиться. Впрочем, меня все это не касается. Мое дело — ядерная физика, и мне надо узнать поскорее, что нового там.

На другой день я с утра помчался в свою родную лабораторию. В моей комнате я застал молодого парня. Оказалось, что он — новый сотрудник секто-

ра Флерова. Парень изучал статью в английском журнале „Нейчур”, в которой рассказывалось о том, как в Бирмингеме на ускорителе атомных частиц, циклотроне, удалось до больших скоростей разогнать атомные ядра кислорода. Оно интересно, но какое отношение имеет это к сектору Флерова? Скоро все прояснилось.

От Флерова я узнал, что мы кончаем заниматься прикладными задачами и попробуем силы в „чистой науке”. Курчатов поддерживает такие настрояния. Похоже, намечается какой-то поворот в науке. Надо показать, что мы не только атомные бомбы делать умеем. Мы должны начать что-то новое. Не попробовать ли нам синтезировать новый химический элемент. До сих пор новые трансураниевые элементы были синтезированы группой американских ученых, и нашим конкурентом будет Нобелевский лауреат Сиборг. Попробуем? Почему нет? Но как это сделать? С чего начать? Для начала хорошо бы, как в Бирмингеме, ускорить атомные ядра кислорода.

Конечно, начиная эту работу, трудно ожидать, что даже в случае успеха открытия приведут к коренному пересмотру наших знаний о строении материи. Но все-таки продвижение в сторону „белого пятна” всегда привлекательно. Есть и еще одно серьезное преимущество у работы по синтезу трансураниевых элементов. Кто сейчас не знает, что такое химический элемент? Таких, наверное, уже не найдешь. Поэтому о новом элементе можно рассказать даже в газете, по радио. Про новую частицу тоже можно рассказать, но это труднее. Итак, начнем думать о новой задаче. Вместе со мной ею будут заниматься двое новых сотрудников сектора. Ветераны сектора, как я скоро заметил, в бой не рвались. Видел я также, что в отделе к нашим намерениям синтезировать

новые химические элементы присматриваются с холодком.

Втроем мы размышляли, как можно обнаружить рождение нового элемента. У нас не было пучка ускоренных атомных ядер кислорода, но мы думали, как будем ставить опыт, когда он появится. И, в конце концов, придумали. На имеющемся в ЛИПАНе циклотроне есть пучок атомных ядер гелия. Здесь можно проверить, правильна ли наша идея. Однако на этом циклотроне работают физики из другого сектора, начальник которого находится в плохих отношениях с Флеровым. Поэтому к нему пойду я. К нашему удовольствию, выслушав меня, тот сразу согласился дать циклотрон в наше распоряжение на целые сутки. Как мы радовались, когда обнаружилось, что придуманный нами метод совсем неплох. Конечно, до трансурановых элементов еще далеко, но у нас есть теперь нужная нам техника. Теперь очередь за получением пучка атомных ядер кислорода. Что же, надо идти второй раз проситься на циклотрон. И вновь начальник сектора согласился, не подозревая, что впускает на циклотрон „тройанского коня”.

Техники, дежурившие на циклотроне, с любопытством наблюдали за тем, как мы готовимся к опыту. Видя вместе с нами Флерова и своего начальника, они догадывались, что готовится что-то необычное. На металлический стержень мы закрепили кусочек платины и вдвинули его внутрь циклотрона. После этого техники приступили к хорошо им знакомой и привычной процедуре настройки циклотрона, но на сей раз вместо баллона с водородом подсоединили баллон с кислородом. Не произойдет ли при этом что-нибудь нехорошее с циклотроном? Вдруг да что-нибудь сторит. Ничего плохого не слу-

чилось. Стрелка прибора, показывающего высокое напряжение, поползла вправо. Начальник сектора эксплуатации циклотрона, старый друг Курчатова, шуточно дул на стрелку, как бы помогая увеличить высокое напряжение. Прибор показывал, что кусочек платины чем-то облучается. Но чем, водородом или кислородом, было не ясно. Наконец пришло время вынимать платину. По ее виду ничего не скажешь. Кладем платину на прибор, регистрирующий радиоактивность, и ждем. Ура! Та самая радиоактивность, которая нам нужна, есть! Из платины мы сделали другой химический элемент — аstatин. Опыт прошел успешно, теперь можно заняться алхимией.

Начальник сектора эксплуатации циклотрона, Флеров и я вышли из института. Был солнечный летний вечер.

— Ну что, отметим событие шампанским? — предложил приятель Курчатова.

— Можно, — согласились Флеров и я. В магазине неподалеку от ЛИПАНа торговали газированной водой и шампанским.

— По бокалу шампанского, — очаровательно улыбаясь, обратился начальник циклотронной группы к скучающей молоденькой продавщице.

Однажды ко мне подошел Кутиков и спросил:

— Сережа, вы не думаете, что вам пора вступить в партию? Я напишу вам рекомендацию.

Признаться, мне эта мысль в голову не приходила. Я был всецело поглощен наукой и уже предполагал в ближайшее время расстаться с комсомольским билетом. Предложение Кутикова застало меня врасплох. Я, в общем, не имел ничего против вступления в партию, хотя и ожидал, что партийные собрания должны быть такими же скуч-

ными, как и комсомольские. Но почему не вступить? Ведь есть там люди, которых я уважаю. Кутиков вступил в партию на фронте, в 1948 году в партию вступил Курчатов. Было, правда, ощущение того, что какой-то кусочек моего „я” будет порабощен. Но не было убеждения, что вхожу в ловушку, из которой нет выхода, а если и есть, то очень тяжелый. Вступление в партию прошло не совсем гладко. Получив нужные рекомендации, я познакомился с уставом, вы зубрил пункты о правах и обязанностях члена партии, постарался запомнить, в чем заключается „демократический централизм”, и в назначенное время явился в партийный комитет института. До этого состоялось партийное собрание отдела, где мне был кем-то задан явно недоброжелательный вопрос:

— Почему во время войны вы не были в армии?

Что я мог ответить? Жил бы я в деревне, и меня призвали бы в армию, но я учился в Москве в авиационном техникуме, и мой возраст еще не стал призывным. Вот и все. Конечно, я мог ответить иначе, а именно, сказать, что не чувствую угрызений совести от того, что не убил ни одного немца. И добавить, что не сожалею, что не искалечен, как случилось с некоторыми моими сверстниками. На такой ответ у меня тогда не хватило бы духу, да и не пришел он мне в голову. В партийном комитете дело пошло еще хуже. Один из его членов спросил меня, что такое язык — базис или надстройка? Я уже успел забыть сталинское „научное” определение понятия „человеческий язык” и ответил что-то идущее вразрез со сталинской формулировкой. Помни я, что сказал по поводу человеческой речи Сталин, я просто повторил бы его слова.

— Да он совсем незрелый, нечего ему в партии делать, — произнес один из членов партийного комите-

та, доктор физико-математических наук, почему-то со злобой глядевший на меня.

Остальные с ним согласились. Однако на этом дело не кончилось. На другой день Кутиков сказал, что через две недели меня снова вызывают на заседание партийного комитета. Машина, похоже, уже крутилась, и заднего хода никто давать не хотел. Через три недели меня направили в районный комитет партии. На заданные вопросы я ответил газетными штампами. Мне указали на какие-то неточности, кто-то посетовал, что рабочие приходят лучше подготовленными, чем инженеры и ученые. В конце концов меня отпустили с миром, сообщив, что я принят в кандидаты в члены партии.

Весной 1956 года, вернувшись из отпуска, я догадался, что в секторе происходят какие-то события. Я еще не знал, в чем дело, но чувствовал напряженность. И тут Кутиков, пригласив меня к себе в кабинет, завел разговор, глубоко взволновавший меня.

— Вы знаете, Сережа, — тихим голосом начал он, — Вэ-Ка и я вместе с другими сотрудниками сектора хотим уйти от Флерова.

— Почему вы уходите? — поразился я.

— Сережа, мы с вами уже хорошо знаем друг друга. Я буду с вами откровенен. Флеров — гадкий человек. Нам надоело его тщеславие. Он хочет, чтобы мы все работали ради его славы. Мы будем рады, если вы уйдете с нами.

— Илья Евсеевич, вы знаете, что я начал заниматься новой задачей. Мне не хотелось бы прерывать это дело. Вас я, кажется, понимаю.

— Ну что же, Сережа, вас никто не принуждает уходить из сектора, но я хочу вас предупредить, что рано или поздно вы поймете простую истину. Для

Флерова люди — это пешки, которые можно переставлять с места на место.

Разговор с Кутиковым заставил меня задуматься. Некоторое время тому назад я стал замечать в своем кумире некоторые особенности характера, которые меня неприятно удивили, но я старался не замечать их, считая причудами выдающегося человека. И вот теперь вдруг открылось, что те, кто дольше всего работали с ним, видят в нем просто плохого человека. С этим мне было трудно согласиться сразу, хотя я уважал и Кутикова, и Вэ-Ка. Оба они были безусловно честными людьми. У меня пока нет серьезных неприятностей с Флеровым. То, что мне не нравится, мелочь, хотя и противная. Флерову все время приходится выступать в роли оппонента при защите диссертации, и он постоянно обращается ко мне с просьбами писать вместо него рецензии. Я знаю, что за рецензии оппонентам платят деньги, но их он спокойно кладет в карман, хотя мог бы отдавать их мне. Но все это можно пережить. Самое главное, что вместе с Флеровым я начинаю заниматься опытами, которые мне нравятся, и в этом деле я не пятая спица в колеснице. Часто инициатива в работе уже исходит от меня. Прервать эти опыты, даже если Кутиков прав, нельзя. Все будет хорошо. Вечером того же дня Флеров и я шли в циклотронную лабораторию.

— Сережа, — вдруг обратился ко мне Флеров, — обстановка так складывается, что мне, может быть, придется уехать из Москвы. Вы со мной поедете?

— Да, — ответил я.

С тех пор, как Флеров перестал ездить в командировки и его работа над атомным оружием прервалась, многое изменилось. Раньше в те короткие моменты, когда он наведывался в Москву, к нему за-

ходили знакомые физики, и часто он что-то обсуждал с ними, прогуливаясь по коридору. Он привык ходить, заложа руки за спину, и от этого его любимая зеленая тенниска, сильно обтягивая грудь, рельефно обрисовывала его мускулатуру. Сильный от природы, он раньше занимался боксом и по-прежнему играл в теннис. Случалось, что сотрудники сектора просили его иногда отвернуть слишком туго затянутый баллон с газом. Не совсем ясная история, случившаяся во время одной из командировок и послужившая поводом для прекращения поездок, уменьшила число его посетителей. После того как в секторе произошел раскол и основная масса сотрудников Флерова ушла от него, я стал его главным собеседником. С этого момента его характер начал вырисовываться передо мной намного ясней. Флеров совсем не был кабинетным ученым и, по-моему, не мог просидеть за письменным столом более часа, изучая статью и делая расчеты. Что касается теоретических работ, то он их просто не читал.

Скоро я почувствовал, что во время наших разговоров мы словно попадаем в какой-то заколдованный круг, из которого не можем выбраться. Как более эффективно осуществить накопление ядерного горючего? каким должен быть атомный реактор для производства дешевой электроэнергии? — это были темы нашего каждодневного разговора, и продолжалось это не один месяц. Когда мы решили заняться синтезом новых химических элементов, то через все наши беседы протянулась одна линия — как обогнать американцев. Часами я сидел на диване в кабинете Флерова, а он, заложив ногу на ногу, покачивался в кресле. Случалось так, что я, уходя от Флерова, не успевал дойти до двери своей комнаты. Флеров догонял меня, и прерванный разговор возобновлялся, но уже в коридоре. Иногда Флеров бывал у Кур-

чатов и потом говорил мне, что тот благожелательно смотрит на нашу деятельность.

Разговор об отъезде не был случайным. Дело в том, что мы начали подумывать о строительстве нового, „своего” циклотрона. После нашего первого успеха на циклотроне мы начали серьезно готовиться к работе по синтезу новых химических элементов и встретили ожесточенное сопротивление со стороны физиков, уже давно работающих на циклотроне. В нас они теперь видели своих конкурентов, особенно, когда мы просили циклотрон уже на несколько месяцев. Курчатов явно желал нам помочь, но делал это очень осторожно. На научно-техническом совещании, организованном им, „крови” не было, но для постороннего наблюдателя было трудно увидеть спокойное обсуждение научной проблемы. До площадной брани иногда оставался один шаг, и тогда вмешивался Курчатов. Перед ним ступшевывались наиболее агрессивные. Владельцев циклотрона поддерживали все, а нас атаквали и справа, и слева. То, что мы собираемся делать — абсурд. Изучать столкновения сложных атомных ядер — это почти то же самое, что изучать столкновения автомобилей. Под некоторым нажимом Курчатова мы все же получали время на циклотроне для наших опытов.

Проводя опыты, мы все более убеждались в том, что надо строить новый циклотрон, уже специально предназначенный для наших целей. Конечно, главной задачей на будущем циклотроне останется синтез новых химических элементов, но мы обязательно начнем развивать и другие направления исследований. Хорошо бы сейчас нам иметь союзников, но у нас их не было. Мы копались в журналах и писали, писали бумаги, пытаясь доказать, что круг научных интересов на новом циклотроне будет достаточно широк. Однако дела продвигались не слишком

быстро, и однажды разгорячившийся Флеров в одном из своих писем недвусмысленно намекнул, что Курчатов недооценивает значение наших работ. Реакция была быстрой. Циклотрон будет строиться, но не в ЛИПАНе или, как к тому времени стали называть лабораторию, Институте Атомной Энергии. Циклотрон будет строиться в подмосковном городе Дубна, где создается международный научный центр — Объединенный Институт Ядерных Исследований.

Наша группа постепенно становилась все сильнее. Несколько химиков присоединились к нам, и их шеф, академик, объявил шутливо, что будет „крестным отцом” нового химического элемента. К этому времени в Беркли был синтезирован химический элемент с атомным номером сто один, который американцы в честь Менделеева называли менделеевием. Это подлило масла в огонь. Флеров буквально обезумел от желания сделать открытие, начал нажимать на нас, и работа обратилась в сплошной хаос. День и ночь мы проводили одно облучение за другим, не имея времени на обдумывание накопленной информации. Давай, давай, давай! Вот-вот американцы откроют сто второй элемент. Надо торопиться. Потом, когда у нас будет свой циклотрон, можно будет не спешить.

Однажды ко мне позвонила жена Флерова. Врач говорит, что у Георгия Николаевича совсем расшатаны нервы. Он не спит по ночам, и дело может плохо кончиться. Мне надо поговорить с ним. Ведь я его ближайший сотрудник, и, может быть, мне удастся на него воздействовать.

Куда там. Работа продолжалась бешеным темпом. Проводя наши опыты, мы одновременно усовершенствовали наш московский циклотрон, и в одно прекрасное время почувствовали, что здесь наш успех

очевиден. Физики, занимавшиеся проблемой термоядерного синтеза, помогли нам, и мы начали подозревать, что интенсивность пучка частиц на нашем циклотроне выше, чем у американцев.

Работа съедала все время, и жизнь вне лаборатории ощущалась только во время отпуска. Летом мы уезжали куда-нибудь подальше от Москвы; обычно это было путешествие на лодках по рекам и озерам. Мы ухитрились за три недели ни разу не завести разговора о физике. Особенно мы полюбили путешествия по реке Белой на Урале. Это был уже другой Урал, не такой, с каким я познакомился в 1953 году. Теперь он радовал душу. Река петляла между зеленых гор, мелкие перекаты сменялись глубокими омутами. Бывало, дня два мы не встречали человека. Ловить рыбу, охотиться, лазить по пещерам и лихо лавировать в бурном потоке меж огромных камней — только это и никаких разговоров о трансурановых элементах. От постоянного пребывания в воде и на солнце мы становились бронзовыми, а от постоянных упражнений с топором руки крепили. Вечерами мы пели у костра песни и напрочь забывали дурацкие намерения кого-то обогнать в науке. И без „рекордов” жизнь выглядела совсем недурно.

Однажды во время очередного плавания на нашем пути попался маленький поселок. Кто-то пошел на почту отправить письма и принес обратно новости. В борьбе за власть на вершине партийной пирамиды на первое место начал выдвигаться Хрущев. Это событие после смерти Сталина и расстрела Берия не вызвало особых волнений. Вся эта кутерьма наверху на нашу жизнь никак не повлияет. Наша работа, наука, словно стеклянной стеной отделяли нас от внешнего мира.

Но пришла осень 1956 года, и эта стена треснула. В партийных группах начали читать доклад Хрущева на XX съезде партии. То, что можно было предполагать, стало явным. Сталин был бандит, погубивший миллионы людей. Но почему все молчали? Это казалось невероятным. Кажется, лучше было умереть, чем, склонив голову, перенести все это. Сталин виновен, но так ли чиста сама партия? И почему Хрущев говорит главным образом об „избиении партийных кадров”. А что с загубленными во время коллективизации крестьянами?

Вскоре после этого в „Правде” появилась большая статья, где говорилось, что коммунисты активно обсуждают решения партийного съезда. Вскользь, однако, упоминались какие-то „личности”, использовавшие партийные собрания для антисоветской пропаганды. Скоро по ЛИПАНу пополз слух, что в Институте Теоретической и Экспериментальной Физики из партии исключили двух физиков и обоих уволили с работы. Одного звали Юрий Орлов, а другой был Вадим Н. Я едва мог поверить, что это тот самый Вадим, с которым прошлым летом я три недели провел в одной лодке. Вадим звал меня в шутку капитаном, а я его штурманом. И вот теперь тихий и скромный Вадим полез на рожон. Наконец дошли подробности всей истории. Оказывается, Юрий Орлов вышел во время собрания на трибуну и вместо стандартных фраз, одобряющих доклад Хрущева, начал говорить, что борьба со сталинизмом далеко еще не окончена и прежде всего должна быть направлена против нетерпимости к чужим взглядам. Вадим поддержал его. Собрание бурно приветствовало выступивших. Но этим дело не кончилось. Через неделю было назначено новое собрание и на сей раз оно было „лучше подготовлено”. Председательствовал на нем начальник политического управле-

ния нашего министерства. Нашлись, конечно, такие, которые „осудили” Орлова и Вадима за „антисоветскую пропаганду”. Остальные молча проголосовали за решение исключить обоих из партии. И когда „смутьянов” вышвырнули с работы, заступиться за них было некому. Каждый боялся за себя.

Дошло дело и до нас. На собрании зачитали письмо Центрального Комитета партии, осуждающее Орлова и Вадима, и предложили его одобрить. О случившемся говорилось в суровых тонах. Неделю назад мы, кажется, были готовы умереть в борьбе со сталинизмом. Но умирать-то, как выяснилось, не надо было. Требовалось лишь встать и заявить громко о своем несогласии с письмом Центрального Комитета. И это было страшно. Откапывая из глубины души подленькие оправдания, мы единогласно одобрили „отпор провокаторам”. Вот так. И очень удобная философия нашлась сразу же. Им ведь не можешь, а себе все будущее переломаешь. Много лет спустя я узнал, что лишь после сильного нажима Курчатова на Хрущева Орлову дали работу в Ереване, где впоследствии он был избран членом-корреспондентом Армянской Академии наук.

Наука увлекает, и личные дела отступают на задний план. Но только на время. Жизнь напоминает о них грубо и беспощадно. В 1956 году я женился, но вскоре это радостное событие было несколько омрачено. В квартире, где я жил со своей женой Шурой, работавшей лаборанткой в одном из институтов, было тесно. Это начало приводить ко всяким осложнениям, и нам пришлось уехать жить в маленький город в тридцати километрах от Москвы. Там мы снимали комнату, а летом жили просто в сарае. На работу приходилось уезжать рано утром, до семи часов утра. Приехав на Павелецкий вокзал, надо бы-

ло еще тащиться через всю Москву на метро. Редко когда я возвращался домой ранее десяти часов вечера. Особенно трудно было нам с Шурой зимой, когда, вернувшись с работы, приходилось бежать за дровами и затапливать печку, а потом идти к обледенелому колодцу за водой.

Около ЛИПАНа строили новые дома, и мне пришла в голову мысль попросить комнату. Мне казалось очевидным, что я получу ее. Ведь в лаборатории я работаю уже семь лет и не просто работаю положенное время, а вкалываю от зари до зари. Меня хорошо знают во всем отделе, но как начать разговор о комнате. Естественно, обратиться к Флерову. Если ему удалось сделать атомную бомбу, то, наверное, в его силах достать для своего верного помощника комнату.

— Напишите заявление с просьбой выделить вам комнату. Я поговорю с заместителем Курчатова.

Через неделю Флеров вернул заявление:

— Сейчас ничего нет.

Конечно, заместитель Курчатова легко мог достать для меня комнату, но, как я узнал позже, Флеров даже не разговаривал с ним. По своей наивности я не догадывался тогда, что нужен Флерову в Дубне и, скорее всего, он опасался, что, получив квартиру в Москве, я могу передумать и не поехать в Дубну. Я чувствовал, что горечь и обида переполняют меня. Почему, например, секретарь партийной группы имеет отдельную комнату? Механик он посредственный, но зато на партийном собрании не упустит случая потрепаться, и кто-то из его родственников в первом отделе работает. Да и сам он, наверное, стукач. А мне даже комната „не светит”.

Подумав о своих трудностях, я решил, что все-таки один путь для меня еще не закрыт. Надо сделать

кандидатскую диссертацию. Как? Очень просто. Ведь в моем распоряжении находится лучший в мире пучок ускоренных атомных ядер кислорода. Надо посмотреть, что происходит, когда они сталкиваются с атомными ядрами золота. Как сделать опыты, мне ясно.

К моему удивлению, Флеров холодно и даже враждебно встретил мое предложение. Наверное, он вспомнил своего бывшего сотрудника Вэ-Ка и уже предвидел возможность моего превращения в независимого от него человека. Я не помню, что он тогда говорил, но меня возмутило его желание подавить мой порыв. Я готов был „взорваться” и сказать, что в таком случае мне нечего больше делать в его секторе. В то время Флеров нуждался во мне и к тому же хорошо понимал, что я легко найду другую работу. В конце концов он согласился при условии, что я не прекращу участвовать в работе по синтезу сто второго элемента. В 1957 году в Москве состоялась международная конференция по ядерной физике. Среди множества докладов было и мое скромное сообщение об экспериментах, результаты которых должны были лечь в основу моей кандидатской диссертации. Месяцем позже я дал свое согласие на переезд в Дубну, где меня назначили начальником сектора в новой, только что организованной лаборатории. В ней должен был строиться наш циклотрон.

В конце 1957 года произошло невероятное событие. На имя Флерова пришло письмо из Копенгагена из института Нильса Бора.

В Копенгагене интересуются нашими опытами. Это была моя проблема, моя будущая диссертация. Предложенные мной опыты я провел вдвоем с моим

приятелем. Удивительно, но мы оказались пионерами в новой, еще не изученной области физики. Письмо радовало. О нас знают, нашими опытами интересуются. Появился мостик, связывающий нас с западными учеными. Для нас они были тогда еще „жителями иной планеты”. Я не сомневаюсь, что Флеров, противившийся моим опытам, поехал бы в Копенгаген, получи он на то разрешение. Но он был еще слишком „тепленьким” после работы над атомной бомбой, и КГБ не решался выпустить его за границу. Решено было послать меня.

Я начал готовиться к поездке. Надо написать доклад, приготовить диапозитивы. Это заняло много времени, но все другие дела были отложены в сторону. Не только я, вся наша группа была возбуждена до крайности. Мы выходим на международную арену.

Наконец доклад был закончен, и после того как он был напечатан в первом отделе, я смог отослать его Курчатову, который в то время был болен. Он тем не менее его прочел и незадолго до отъезда пригласил меня к себе. Слегка морозило, и одетый в теплую шубу Курчатов, опершись на палку, сидел на скамейке около своего дома. Мой доклад ему понравился, и он собирался „нажать” на каких-то чиновников, затягивающих дело с оформлением моих документов.

Подготовка доклада была лишь частью моих забот. Мне надо было купить более или менее приличную одежду. Появиться в Копенгагене в клетчатой ковбойке казалось невыносимым, а других рубашек у меня не было. Вместе с Шурой мы бегали по магазинам и, наконец, в отчаянии купили страшные белые рубахи с пристегивающимися воротничками и удивительно грязным оттенком. Трудно без смеха вспоминать наши переживания, но тогда нам было

не до смеха. Наверное, такого рода эмоции были свойственны многим, кому тогда довелось совершать поездки на Запад. В нас жил страх показаться смешными, неловкими. И уж совсем нельзя было допустить какую-нибудь оплошность. Позднее мне довелось услышать, что на первых порах чиновников, рассматривавших „выездные дела”, приводили в некоторое недоумение очки. Им казалось, что очки портят впечатление о советском человеке, как наиболее совершенном. И долго смущали их такие физические недостатки, как косоглазие, хромота и особенно горб.

До отъезда оставалось не более недели, когда однажды меня попросили зайти в шесть часов вечера к начальнику отдела кадров. Я удивился, зная, что весь административный отдел кончает работать ровно в шесть часов. При моем появлении начальник отдела кадров встал и, обратившись к незнакомому мне мужчине, сказал, что уходит домой. Поднявшийся из кресла в углу кабинета незнакомец был в форме подполковника КГБ.

— Будем знакомы. Мосенцев Николай Романович. Садитесь, Сергей Михайлович. Я слышал, что вы скоро переезжаете в Дубну?

Я ощутил смутное беспокойство, отдавшееся легкой тяжестью в желудке.

— Жду квартиру.

— Переезжайте скорее, у нас в Дубне хорошо. Я ведь тоже там работаю.

Уточнять, чем Мосенцев занимается в Дубне, не имело смысла. Ясно, что не физикой.

— Когда вы уезжаете в Копенгаген?

— Через неделю.

— У одного дубненского физика есть к вам просьба. Если вы услышите что-либо о работах над анти-веществом, дайте знать об этом в Дубну.

Неужели из-за этого Мосенцев пожелал встретиться со мной? Любопытный физик мог и сам позвонить мне по телефону. Я расслабился и ждал, что мы сейчас попросаемся.

— Вы знаете, Сергей Михайлович, у меня есть к вам небольшое дело, — Мосенцев чуть помолчал, — мы хотели бы получать от вас информацию о людях, с которыми вы работаете. Вы не подумайте ничего плохого. Это же в интересах нашего государства.

Я был ошеломлен, растерян. Такого поворота в разговоре я не ожидал.

— У меня ничего не получится. У меня характер не тот, — я пытался вежливо увильнуть от гнусного предложения. Не хватало мне стать стукачом. Мысль работала лихорадочно. В любом случае я откажусь, но скорее всего мне это будет стоить поездки в Копенгаген. Своим друзьям я не смогу рассказать, что не поеду потому, что отказался доносить о них. Что будут они, и в том числе Флеров, думать об отмене поездки?

— Вы зря беспокоитесь, — продолжал искушать Мосенцев. — Никто ничего не будет знать. Я дам вам адрес, и иногда вы будете извещать нас о ваших наблюдениях. Мы гарантируем вам полную тайну. Вы понимаете, что это и в ваших интересах.

Встать и сказать, что информатором КГБ быть подло, я не решался и болтал что-то насчет моей гипертонии, говорил, что мне нельзя волноваться. Я отказывался, а Мосенцев продолжал давить, ссылаясь на то, что я коммунист и обязан помогать органам госбезопасности.

— Нет, Николай Романович, я не смогу работать со своими друзьями и писать о наших разговорах.

— Хорошо, — сдался наконец Мосенцев. — Вот вам лист бумаги, садитесь за стол и пишите.

Сейчас мне будет продиктовано обязательство сохранить наш разговор в тайне, и мы разойдемся.

— Я, Сергей Михайлович Поликанов, даю обязательство органам государственной безопасности регулярно информировать...

До меня дошло, что Мосенцев мое вялое, вежливое сопротивление принял за согласие. Наверное, у него был опыт в таких делах, и он знал, что многие не выдерживают долгой беседы и внезапно ломаются, сдаются. С этого момента я вдруг ощутил спокойствие. Несколько раз перечеркнув написанное, я скомкал лист и бросил в пепельницу. Мосенцев больше не настаивал. Кажется, он понял, что мы дошли до линии, за которой он встретит открытое сопротивление. А у меня не было ни злобы, ни ненависти, а только холодная уверенность в своих силах.

Мне еще раз довелось встретиться с Мосенцевым, но к своему тогдашнему предложению сотрудничать с органами КГБ он никогда более не возвращался. Много лет спустя я гулял как-то с собакой в лесу под Дубной. На тропинку вышел человек в сером плаще, с палкой в руках и корзинкой, висевшей на боку. Это Мосенцев, ходивший за грибами. Я заглянул к нему в корзинку.

— Кое-что набрали?

— Мало. В этом году с грибами плохо.

Мутные, в красных прожилках глаза указывали, что человек пьет, причем крепко. Ничто в потрепанном, поизносившемся пьянице не напоминало щеголеватого подполковника КГБ, встретившегося мне перед поездкой в Данию. Конкуренты Мосенцева из его же ведомства на каком-то деле „подсидели” его, и вот уже несколько лет он работает на авиационном заводе. Не инженером и не рабочим, а в первом отделе. Карьера Мосенцева была подпорче-

на навсегда, и его основным утешением стала поллитровка.

Поездка в Копенгаген не обошлась без небольших приключений. Первое произошло при отлете в Копенгаген. Во Внуковском аэропорту я почувствовал что-то неладное. Случилось это в тот момент, когда я начал заполнять таможенную декларацию. Наверное, я должен написать о черной папке с текстом моего доклада. В Комитете по Использованию Атомной Энергии, где мне выдали паспорт, деньги и билет на самолет, я разговаривал с импозантного вида седовласым чиновником. Он недавно вернулся из Вены и с упоением рассказывал, какого фасона шляпы носят там. Но он ничего не сказал о том, что мне надо иметь письменное разрешение на вывоз текста доклада. Приученный первым отделом строго соблюдать все правила, я лишь в аэропорту догадался о своем недосмотре. Таможенник в сером мундире pokrutil папку:

— Это не по моей части, подождите минутку.

Таможенник ушел и вскоре вернулся с полковником в форме пограничных войск.

— Покажите, что у вас?

Полковник раскрыл папку. На первой странице наверху было напечатано „Институт Атомной Энергии”. Слава Богу, что нет хоть дурацкого грифа „Совершенно секретно”.

— Вы можете лететь, но этот документ я не пропущу.

— Но мне нужен мой доклад.

— Я ничем не могу вам помочь.

До отлета самолета оставалось совсем немного времени. Что делать? Я подошел к стоящим в стороне Флерову и Шуре. Шура, естественно, помочь мне не сможет. А что сделает знаменитый

пробивной Флеров? Тот, однако, растерялся не меньше моего.

— Позвоните Курчатову, — посоветовал он мне.

Курчатов не стал тратить время на лишние разговоры:

— Узнайте, кто может разрешить вывоз вашего доклада и позвоните мне.

Я нашел полковника. Ответ был кратким. Разрешение может дать только командующий пограничными войсками Советского Союза. Ничего себе история. Я снова звоню Курчатову. Он просит позвонить ему через десять минут. Наверное, не надо было мне говорить о своем докладе. Сидел бы я сейчас уже в самолете. Подвела дурацкая привычка к дисциплине.

— Возьмите ваш доклад, но на обратном пути покажите его мне.

Я обернулся. Полковник протягивал мне папку. После звонка Курчатова прошло не более пяти минут.

Я на Западе. Это до сих пор живое ощущение появилось, когда самолет накренился, пошел на посадку, и на мгновение открылся вечерний Копенгаген. Красные, синие, зеленые мерцающие огни. Море огней, поток света. И все это — мой свет. Ведь так точно светится электрический разряд в сердце нашего циклотрона, ионном источнике. Когда я уеду в Дубну, на нашем циклотроне вспыхнет неоновый разряд, и мы ускорим атомные ядра неона. Сейчас — это моя мечта, и, глядя на Копенгаген, я могу любоваться красными огоньками. Встретившие в аэропорту двое советских физиков, мои знакомые, отвезли меня в отель „Аксельборг” в центре города.

Утро началось в соответствии с моими ожиданиями. Завтрак в небольшом зале с белоснежными ска-

тертями на столах. Моего английского языка едва хватает на то, чтобы понять, о чем спрашивает меня немолодая улыбающаяся фру. Чай или кофе? Потом вместе со своими соотечественниками я иду пешком в институт на берегу озера. Дети кормили хлебом уток и лебедей, но меня это почему-то не поражало. Как могло быть иначе? Ведь я нахожусь в Дании, стране великого сказочника Андерсена. В институте было много молодых физиков из разных стран. Мне хотелось с ними поговорить, но не хватало слов. Это удручало. Надо по возможности заняться английским языком. Мне предстояло сделать доклад на семинаре, и я ожидал, что мои русские знакомые помогут мне. Но не тут-то было.

— На нас не рассчитывай. Рассказывай сам, как умеешь.

Я так и не знаю, что поняли из моего доклада физики, работавшие в то время в институте Нильса Бора. Надеюсь, диапозитивы помогли им догадаться, что в Москве начало развиваться новое направление в физике атомного ядра.

Перед отъездом в Копенгаген я посетил Центральный Комитет партии, где уезжающих за границу инструктировали. После инструктажа рождалось ощущение того, что все время мне придется быть настороже. Из памяти еще не изгладились недавние венгерские события, и я ждал, что меня будут спрашивать о них. Я симпатизировал венгерским студентам и рабочим и даже жалел Имре Надя, не зная, что во время революции в России он служил в ЧК и жестоко расправлялся с русскими „контрреволюционерами”. Хозяева были деликатны и старались мое короткое пребывание сделать приятным. Видимо, они четко отделяли ученых от тех, кто послал в Будапешт танки. Две недели промелькнули незаметно,

но я чувствовал, что пробита брешь в стене, отделявшей меня от этого другого мира. Западные люди перестали быть для меня „инопланетянами”. И я не чувствовал, что они враждебны мне. Но все-таки я испытывал радость, думая о моменте, когда самолет приземлится во Внуково. Через два часа я буду дома в нашей убогой комнатухе, побегу за водой. Тем временем Шура будет топить печку.

От командировочных денег оставалась небольшая сумма и, конечно, мне надо было потратить ее с толком. Как? Разумеется, купить женские кофточки, а себе нейлоновую рубашку. Упаковав свой скромный багаж, я ждал своих знакомых, которые должны были отвезти меня в копенгагенский аэропорт. Наконец, они явились в отель, оба с огромными сумками. Их надо передать их женам. Сумки я, конечно, взял, но мои коллеги не потрудились хотя бы намекнуть мне, что в них находится. Самолет был практически пустой. Кроме меня летели двое советских сотрудников торгпредства в Исландии и какой-то американец. Стюардесса предложила нам пообедать и принесла бутылку коньяка и „Цинандали”. Конечно, мы все выпили и перед посадкой меня охватило приятное чувство расслабленности. Все-таки за две недели я изрядно устал.

Я издали увидел Шуру. Она пришла меня встречать, но между нами стояли двое таможенников.

— Сколько времени вы были в командировке?

— Две недели.

— Это все ваши вещи?

— Это все мои кофточки, — только усилила мое смущение Шура.

Я не предвидел этого вопроса и, не зная что находится в сумках, не мог ответить утвердительно. Доказать, что я лгу, ничего не стоило бы. Таможенник открыл сумку. Сверху лежала нейлоновая рубашка.

— Одна, вторая... — начал считать таможенник. — Наверное, для родственников, друзей, но это не мое дело.

— Пусть за рубашками зайдут на таможду.

Открыли вторую сумку. Сверху лежала газета „Гардиан”. Под ней, разумеется, рубашка. Один из таможенников приготовился потрошить сумку.

— Подожди, — остановил его другой. — Вы из какой организации?

— Комитета по Атомной Энергии.

— Закрывайте сумку, можете идти.

Кажется, слово „атом” еще не перестали уважать.

— Пройдемте со мной, — обратился ко мне стоявший рядом капитан-пограничник.

Мы зашли в небольшую комнату. Капитан держал в руках „Гардиан”.

— Зачем вы ввезли в Советский Союз реакционную западную газету? Мы об этом сообщим в вашу организацию.

Настроение было подпорчено и исправилось лишь после тарелки борща.

Придя на следующее утро в лабораторию, я подробно рассказал об увиденном и услышанном. Среди новостей, взволновавших Флерова и других, было известие, что американская группа в Беркли получила данные о сто втором элементе — нобелии, не согласующиеся со шведскими, которые считались доказательством открытия сто второго элемента. После разговора с Флеровым я позвонил Курчатову, который плохо себя чувствовал и был дома. Обругав меня за приключение в аэропорту, Курчатов пригласил зайти к нему домой. Он лежал в постели и выглядел страшно усталым.

На другой день в институте состоялся семинар, на котором я рассказывал о своей поездке в Да-

нию. Один из советских физиков рассказывал мне тогда о своих расчетах, но я не обратил на них серьезного внимания, полагая, что он сам может написать о них в Москву. Поэтому, когда Курчатов стал расспрашивать меня о работе советских физиков, я ответил не очень ясно. Это вызвало с его стороны замечание, задевшее мое самолюбие. Еще через день состоялось совещание, на котором обсуждались наши будущие эксперименты. Курчатов пришел на него и внимательно слушал наши споры. Когда мы кончили, я быстро направился к дверям.

— Поликанов, — окликнул меня Курчатов, — подожди. На улице скользко, а я ведь с палкой теперь хожу. Проводи меня до дома. Поддержишь меня, а то я завалюсь. Я ведь тяжелый, и он меня не удержит.

Курчатов кивнул в сторону рослого охранника. Мы медленно шли в сторону коттеджа, где жил Курчатов. Курчатов выяснял кое-какие оставшиеся ему неясными детали, касающиеся наших опытов. Он был в благодушном настроении и расспрашивал меня, когда я собираюсь переезжать в Дубну. Мы подошли к коттеджу. Прощаясь со мной, Курчатов весело улыбнулся. Да, тяжелая болезнь не сломила его духа. Немногим более восьми лет прошло с тех пор, как я впервые встретил его, весело насвистывающего, в коридоре Главного здания. Тогда я поразился, насколько его внешний облик соответствовал моим представлениям о нем, как о руководителе грандиозной программы. Без бороды, наверное, он выглядел бы намного моложе, но безусловно утратил бы что-то очень притягательное в своей внешности. Груз, который Курчатов принял на свои плечи, был непомерно тяжел, но он поднял его. Поднял и надорвался.

Мой разговор с Курчатовым на пути к его коттеджу был последним. Вскоре я уехал в Дубну, где меня ждали новые дела. Болезнь не отпускала Курчатова и в феврале 1960 года он внезапно умер. Сидел на лавочке около своего дома с кем-то из друзей, рисовал палкой что-то на снегу и вдруг замолк, наклонился и упал. Я приехал из Дубны на его похороны. Солдаты с автоматами шли строем по Красной площади, из орудий дали несколько залпов. Эра Курчатова кончилась.

Весной 1977 года на Кропоткинской улице в Доме Ученых проходило заседание Академии наук. Кого-то куда-то избирали. После голосования устроили перерыв, и пока комиссия разбиралась в бюллетенях, начали показывать художественный кинофильм „Академик Курчатов”. Я не мог узнать в известном киноактере Бондарчуке Курчатова. Рядом со мной сидел член-корреспондент, который с самого начала атомной эпопеи был одним из ближайших сотрудников Курчатова. Вообще в зале было много людей, лично знавших Курчатова, и, наверное, кое-кого фильм увел на время в прошлое. Я ушел из зала и вернулся, когда фильм прервали, чтобы объявить результаты голосования.

— Да, разыграли мы тогда партию с американцами и выиграли ее, — тихо произнес сосед.

Я промолчал. И что я мог тогда ответить. Мне чувства его, человека совсем не воинственного, были понятны. В нем говорила гордость участника того, что можно было назвать научным подвигом. И в определенной степени он был прав. Ведь если учесть, что Курчатов со своими сотрудниками начал работу над атомной бомбой на московском пустыре в самый разгар войны, то, конечно, можно говорить о выигрыше партии русскими. Но, отказавшись от спортивного взгляда на прошлое, можно спросить,

что выиграли и что проиграли от атомного соревнования русский и американский народы. Ответа на этот вопрос мы никогда не получим, потому что нельзя проверить, как выглядел бы сегодняшний мир, если бы атомные ядра урана не делились. Не исключено, что танков и пушек было бы намного больше, чем сейчас, а пацифистов значительно меньше.

3. ДИКОВИННОЕ ПЕРЬШКО

В августе 1946 года вместе с двумя спутниками я ехал с Савеловского вокзала в Дмитров, небольшой городишко к северу от Москвы. Ехали мы на охоту на Московское море. Дальше Дмитрова электричка не шла. Нам сказали, что в Дмитрове мы должны пересесть на маленький автобус, идущий в нужном направлении. Мы вышли на вокзальную площадь и, увидев, что многие бегут к маленькому зеленому автобусу, догадались, что это именно он нужен нам. Втиснувшись в него, мы положили рюкзаки на пол и уселись на них. Ехать предстояло километров пятьдесят. Дорога почти все время шла через лес, изредка пересекая маленькие, убого выглядевшие поселки. Мы находились всего километрах в ста от Москвы, но чувствовалось, что здесь начинается настоящая глушь. Наконец мы выехали на открытое место, и слева от нас промелькнули две огромные скульптуры — Ленин и Сталин. Автобус подъехал к туннелю, где около опущенного шлагбаума стоял с винтовкой сотрудник военизированной охраны. Шлагбаум поднялся, мы проехали через туннель и метров через сто выехали на плотину. Слева открылся большой водоем, справа была видна Волга. Автобус, проехав плотину, остановился на большой площади. Все, приехали. Мы вышли из автобуса. Мимо нас солдат с автоматом вел куда-то колонну людей в серой одежде. Немцы. Что они здесь делают? Наш дальнейший путь к маленькой деревне на берегу Московского моря шел по длинной дамбе. Слева вода, справа вдоль всего горизонта темнел лес. На дам-

бе нам встретился мужчина. Ему было интересно поболтать с молодыми парнями, идущими на охоту, и он давал нам всякие советы.

— Недавно здесь ракету испытывали, она в лес упала, — решил на прощание поразить нас своей осведомленностью словоохотливый мужчина. Оказывается, поблизости был расположен секретный военный завод.

Мог ли я тогда предположить, что пройдет двадцать лет, и я буду жить всего лишь в пяти километрах от дамбы, по которой мы шли. Откуда мог знать я тогда, что на правом берегу Волги в лесу будет построен филиал ЛИПАНа. Не мог знать я и того, что впоследствии он станет частью международного научного центра. Рядом с ним вырастет маленький уютный город Дубна, и я буду жить там. Конечно, шагая по дамбе с ружьем, я не мог знать этого.

Поначалу этот маленький городок казался чересчур спокойным и тихим. Исчезла суета московских улиц, толчея в метро и автобусах. Вечерами было тихо, и что-то напоминало мне Челябинск-40, где зимой 1953 года вместе с другими я пытался найти путь к „маленькому атомному взрыву”. Скоро я понял, что сходство не должно было удивлять, поскольку одни и те же люди проектировали оба города. Мы с Шурой гуляли по пустынным улицам и каждый раз, подходя к нашему дому, радовались, что не придется топить печку и бежать к колодцу за водой. Шура в это никак не могла поверить. У нас была теперь собственная квартира. Пусть маленькая, состоявшая всего лишь из двух комнат, но зато своя. Во всем городе только два дома снабжались горячей водой, и в одном из них живем мы. Нам повезло. Другой дом заселен иностранцами.

Единственная связь города с Москвой — шоссе. Каждое утро в Москву отходит великолепный ав-

тобус чехословацкого производства. Два часа езды, и вы находитесь на площади Свердлова около Малого театра. Если вы хотите вернуться этим же автобусом в Дубну, приходите к семи часам вечера на то же самое место, но имейте в виду, что желающих уехать может оказаться больше, чем число свободных мест. Особенно в субботу. Можно, конечно, добраться до Дубны и другим путем, но это — утомительно. От Савеловского вокзала надо электричкой доехать до Дмитрова, оттуда попутной машиной до Большой Волги. От Большой Волги до Дубны рукой подать, всего лишь километров пять пешком пройти. Если повезет, и в автобусе найдется свободное место, то еще на площади Свердлова появляется ощущение, что ты уже дома. Вокруг — знакомые лица.

На Большой Волге стоит каменный Ленин и, как всегда, показывает куда-то рукой. Раньше на него с другой стороны канала смотрел такой же огромный Сталин в распахнутой шинели. Так они простояли лет двадцать, вряд ли вызывая у живших в тех краях людей чувство благодарности. От Дмитрова до Большой Волги идут маленькие бедные поселки с названиями, символизирующими строительство социализма — Соревнование, Темпы. Все эти нелюдские, безжизненные названия остались от тридцатых годов, когда заключенные строили канал Москва—Волга и умирали тысячами, истощенные голодом, замученные непосильным трудом. Очевидцы рассказывали, что сядет, бывало, какой-нибудь доходяга во время перерыва, а встать не может. Падает мертвым. Но не все умерли, кое-кто выжил и осел в поселках вдоль канала. Не успели они все забыть к тому времени, когда Никита Хрущев Сталина развенчал.

Пришло время скульптуру Сталина взрывать, но

не торопились местные жители. Набросили они каменному истукану на шею веревку, и так с ней, с петлей на шее, неделю простоял он, равнодушный ко всему земному.

Не только уцелевшие заключенные жили около Большой Волги. Охранники чином невысокие там же остались, смешались с бывшими арестантами. Не отличишь при встрече, кто кем был. Охранники иногда проговаривались о своей бывшей службе. Особенно, когда человека с собакой встречали. Начнет он, как знаток, твоей собакой любоваться и ляпнет:

— Знаю я этих собак, у них мертвая хватка. Мы раз овчарку с такой стравили, так потом пистолетом челюсти пришлось разжимать.

Трудно было бы для дубненского института найти более глухое место в Московской области. Но такое место как раз и искало в сороковых годах НКВД, подбирая настоящий „медвежий угол” для секретного филиала ЛИПАНа. Для военных, ожидавших в то время от физиков атомную бомбу, все, что делали ученые, естественно, должно было в конце концов взрываться. Ученые же, для которых строили лабораторию, не спешили разочаровывать военных, объясняя, что вся „продукция” института, то есть новые атомные частицы, будут распадаться за миллионные доли секунды. Ученых удаленность Дубны беспокоила по-своему, и это привело к курьезному разговору при выборе места для лаборатории. Так один академик усомнился в том, что железнодорожные пути к Дубне достаточно прочны, чтобы перевозить по ним тяжелые магниты. Присутствовавший на заседании Берия холодно глянул на ученого:

— Я вижу, Александр Львович, вы не верите в силу советской власти.

Не верить в силу советской власти в сороковые годы было опасно, и почтенный ученый смолк, но ненадолго.

— Меня смущает болотистая почва. Сможем ли мы соблюсти нужную точность при монтаже магнитов?

Берия не очень хорошо разбирался в таких вещах, как „одна десятая миллиметра” и быстро рассеял последние сомнения эксперта по циклотронам:

— Да. Теперь я вижу, что вы действительно не верите в советскую власть.

Одного из генералов, однако, тоже обеспокоили железнодорожные пути. Слабое полотно. Генерала мучил вопрос, как будет вывозиться из лаборатории „продукция”.

В 1956 году филиал ЛИПАНа был преобразован в международный научный центр — Объединенный Институт Ядерных Исследований или, как его стали коротко называть, ОИЯИ. В одной из его лабораторий, названной Лабораторией Ядерных Реакций, ЛЯРе, должен строиться ускоритель атомных ядер, циклотрон. Директором лаборатории избран Флеров. Кажется, и у него, и у меня есть все основания быть довольными.

На окраине города со стороны Волги стояли коттеджи. Один из них принадлежал Бруно Понтекорво или, как его звали на русский манер, Бруно Максимовичу. В 1949 году он, один из ближайших сотрудников знаменитого итальянского физика Энрико Ферми, бежал из Канады в Советский Союз. Говорят, что его на это толкнула жена, бывшая в то время шведской коммунисткой. Но я в этом не уверен. Понтекорво никогда не производил на меня впечатления человека, который решился бы на этот отчаянный шаг, не будучи сам убежденным в его правильности. Его связи с левыми, с коммунистами

в Италии — это, на мой взгляд, скорее могло повлиять на судьбу талантливого физика. Но, видимо, не то нашли супруги Понтекорво, что ожидали увидеть.

Директор филиала ЛИПАНа, где оказался Понтекорво, был одним из учеников Курчатова. Работая до войны в Ленинграде, он был вовлечен в дела, связанные со строительством маленького циклотрона. Война, естественно, прервала это занятие, но, оказавшись в ЛИПАНе, будущий директор филиала ЛИПАНа вновь вернулся к проблеме ускорения атомных частиц. Отзывы, которые я слышал о нем, были противоречивы. Одни говорили, что он хороший организатор и сделал много полезного. Для других он был всего лишь надутым и чванным самодуром. По какой-то причине он просто возненавидел Понтекорво и при всяком удобном случае старался того унижить, оскорбить.

Понтекорво много повидал на своем веку, но вряд ли то, что он встретил в Дубне, могло напомнить ему его прежнюю жизнь. Убегая от итальянского фашизма, Понтекорво оказался во Франции, а дальнейший путь привел его в Канаду. Понтекорво знал теневые стороны западной жизни, но как у большинства левых интеллектуалов, его знание Советского Союза могло быть только поверхностным. Вряд ли он представлял, что репрессии в Италии времен Муссолини могли показаться детскими шалостями по сравнению с террором сталинского режима. Разумеется, живя в Дубне, Понтекорво не сталкивался с грубым насилием, но что он не мог не заметить, так это откровенное и безграничное чиновничье почитание, жестокий контроль НКВД и довольно-таки убогие условия жизни окружающих. И не было привычных встреч по субботам и воскресеньям с друзьями, когда женщины говорили о детях, а мужчины за рюмками с вином спорили о науке или по-

литике, не опасаясь, что шутка в адрес правительства через неделю обернется арестом. Жена Понтекорво Марианна не выдержала, заболела. Говорят, в то время красивая она была. А сыновья Понтекорво росли и становились настоящими русскими.

Присутствие Понтекорво сильно повлияло на научную атмосферу в филиале ЛИПАНа. Молодежь сразу разглядела в нем крупного ученого с широким кругозором и потянулась за ним. Вместо того, чтобы радоваться появлению в лаборатории талантливого физика, директор постарался „прижать” итальянца. Кончилось все это плохо для директора. Он все-таки зарвался, и когда выведенный из терпения Понтекорво, ставший в то время коммунистом, нанес ему на партийном собрании удар, то его поддержали многие. К общему удовольствию директором лаборатории стал человек вполне приличный, не хам, но как ученый особыми талантами не отличавшийся.

Ко времени нашего переезда в Дубну лаборатория Джелепова составляла лишь часть Объединенного Института Ядерных Исследований. Директором всего института был член-корреспондент Академии наук Блохинцев, до этого руководивший строительством первой атомной электростанции в Обнинске. Человек осторожный и дипломатичный, Блохинцев безусловно подходил для роли директора крупного международного центра. Что касается города, то там истинным хозяином был административный директор института. В его руках сконцентрировалось все — деньги, должности, одним словом власть над всеми городскими организациями. Свою карьеру административный директор начал, работая в Центральном Комитете комсомола, где сумел угодить начальству, и оно его отблагодарило, сунув на теп-

лое местечко в Дубне. Высокий надменный мужчина с поразительно наглыми серыми глазами навывкат, он презирал ученых и о таких, как я, не имеющих высокого звания физиках, говорил, что „кормит бездельников”. Конечно, перед такими, как директор института или академик Боголюбов, он заискивал, пытался угадать их желания.

На первых порах знакомых в городе было мало. Несколько бывших студентов того же института, где я когда-то учился, да соседи по дому, где мы жили. Вот и весь круг знакомых, причем никого из них к нашим друзьям мы не относили. Однажды вечером, возвращаясь откуда-то, я столкнулся на площади с уполномоченным КГБ города Мосенцевым. Это был тот самый тип, который перед поездкой в Данию попробовал сделать из меня информатора. Вместе с ним шел длинный сутулый верзила мрачного вида. Я догадался, что это один из „оперативных сотрудников” Мосенцева. Принять его за ученого или инженера было невозможно. Мосенцев заулыбался:

— С приездом в Дубну, Сергей Михайлович. Познакомьтесь. Терехин Николай Павлович.

В тот момент я не мог себе представить, что этот похожий на настоящего громилу тип, как выяснилось впоследствии, невежественный до дикости, пьяница окажется одним из „помощников” академика Боголюбова, ученого, пользующегося мировой славой.

Какое удовольствие иметь дома письменный стол. Не кабинет, а простой письменный стол, за которым можно работать. Я чувствовал себя „на коне” и начал писать диссертацию. Ничто меня не отвлекало. Мои друзья оставались в Москве. Одни еще думали, переезжать им в Дубну или нет, другие спра-

зу решили, что останутся в Москве. Их будущие занятия атомными подводными лодками вряд ли выглядели менее хлебным делом, чем сомнительная охота за новыми химическими элементами в Дубне среди болот на севере Московской области. Те, кто, как и я, решили переехать в Дубну, но имели московские квартиры, думали, как передать их своим родственникам, или изобретали другие способы сохранить их за собой. Поскольку мне нечего было терять в Москве, я переехал раньше других и мог спокойно заниматься своей диссертацией. Тратить на это много времени не хотелось, я поднапрягся и написал текст за несколько месяцев.

В феврале 1959 года на ученом совете одной из лабораторий состоялась защита моей диссертации. Она прошла гладко, если не считать эпизода, рассмешившего всех присутствовавших. Я никогда не видел, как проходят защиты диссертаций, и обеспокоенный незнанием ритуала, пошел посмотреть, как все происходит, в соседнюю лабораторию к теоретикам. Там оппонентом был физик из Москвы с фамилией Шапиро. Видимо, я слишком много думал о ритуале, потому что поблагодарил одного из своих оппонентов по имени Иван Васильевич, назвав его Иваном Васильевичем Шапиро. Надо признаться, сочетание имени и фамилии звучало странно и вызвало громкий хохот сидевших в зале. После защиты диссертации, как полагается, состоялся банкет. Мои друзья, приехавшие из Москвы, искренне разделяли мою радость. Если поездка в Копенгаген, как мне кажется, радовала всех потому, что она означала признание той области физики, которой занималась наша группа, то защита моей диссертации для других могла выглядеть, как „первая ласточка”. Скоро дело дойдет и до них. После банкета мы пошли гулять, и в порыве восторга один из молодых физи-

ков, недавно защитивших диплом, залез на дерево около Дома Культуры. Подошедший милиционер был суров, пытался увести „хулигана” в милицию, и только заступничество женщин, окруживших милиционера и начавших с ним кокетничать, смягчило стража закона.

Все дела по строительству лаборатории и циклотрона тянул главный инженер лаборатории. Откуда он взялся, я не знаю, но про себя он говорил, что „получил крупный выигрыш в лотерею”. Речь шла о московской квартире, которую он получил при назначении на должность главного инженера. Это действительно была крупная удача. Человеку повезло, но главный инженер не был до конца искренен, говоря о выигрыше в лотерею. Этот выигрыш наверняка был хорошо подготовлен, и можно не сомневаться, что кто-то за спиной главного инженера проделал большую работу. Не исключено, что на этот раз Флеров сделал все от него зависящее.

Когда я впервые увидел главного инженера, то сразу понял, что у него есть то качество, которое можно было назвать „представительностью”. Высокий, несколько полный, всегда одетый в соответствии с требованиями министерского этикета в темный костюм и белую рубашку с галстуком, аккуратно подстриженный, он к тому же обладал способностью говорить ровно и очень убедительно. И эти качества с лихвой могли компенсировать недостаток компетентности в делах чисто технических. Поскольку первоначальная деятельность, связанная с нашим циклотроном, была в значительной степени связана с хождением по министерским кабинетам, Флеров правильно рассчитал, что в главном инженере найдет именно того человека, который наилучшим образом будет соответствовать

стоящей задаче. Можно не сомневаться, что квартира в Москве была одним из условий, поставленных главным инженером при обсуждении условий работы с Флеровым, и поэтому, когда работа по строительству циклотрона переместилась в Дубну, главный инженер всегда чувствовал за своей спиной „прочный тыл”. В случае нужды ему было куда податься из Дубны. В Москву. В Дубне главный инженер завел хорошие отношения с административным директором, получил коттедж. Если между главным инженером и административным директором и проскакивала иногда „черная кошка”, то, пожалуй, это было больше для порядка. Оба поднаторели в плавании в советском чиновничьем мире, хорошо знали его законы и хорошо понимали друг друга. Главный инженер ладил и со строителями. Он знал, когда на них надо нажать, но и умел вовремя отступить, приняв, например, у них не до конца достроенное здание. Он не хотел „обижать” их, предпочитал иметь с ними деловые отношения по принципу „сегодня я вам, а завтра вы мне”. Этот выработанный временем принцип не подводил, и дела со строительством новой лаборатории продвигались. Постепенно главный инженер окружил себя „своими людьми”, и в его руках начинала концентрироваться все большая власть. Наезжавший время от времени в Дубну Флеров обычно выражал недовольство медленным ходом строительных работ и иногда затевал свару с дубненскими властями, упрекая тех в недооценке важности его, флеровской задачи. Однажды в моем присутствии он попробовал налететь и на директора института, но встретил холодный отпор:

— Курчатов от вас отделался, и я не намерен терпеть ваши капризы. У меня своих дел хватает.

После отъезда Флерова главный инженер заделывал

вал бреши в отношениях с окружающими, образовавшиеся после визитов начальства.

Положение Флерова в роли директора лаборатории не очень сильно изменило его привычки, и одной из них оставались, как в Москве, прогулки с кем-нибудь по коридору. Конечно, теперь размеры коридора были намного больше, чем в Москве. В кабинете Флерова, который был большим, начали проводиться всякого рода совещания, на которых иногда присутствовало уже много людей. Был введен обычай пить на совещаниях чай, иногда, когда собирались наиболее близкие сотрудники, на столе появлялась бутылка сухого грузинского вина. Но коридор все же тянул к себе Флерова. Вновь, как в Москве, я часто гулял с ним, но это был уже целиком принадлежавший нам коридор. В Москве наши прогулки с одной стороны ограничивались приемной Курчатова, а с другой — комнатами чужого сектора. Теперь все и справа, и слева принадлежало нам. Своя лаборатория — это была уже не мечта, а реальность. Но основной темой разговора оставалось гадание, что делают в Беркли американские ученые. Второе, что волновало Флерова — обязательные интриги со стороны директоров соседних лабораторий и непонимание дирекцией института важности нашей работы. Нам плохо помогают, у нас нет хороших механиков, а в новых домах не дают квартиры для сотрудников. Но не все сводилось к сетованиям. Иногда Флеров мог похвастаться успехами. Однажды директор самой крупной дубненской лаборатории, академик, вылезая после купания из Волги, столкнулся лицом к лицу с Флеровым и поприветствовал того словами:

— Георгий Николаевич, да вы же настоящий бандит.

К этому времени, то есть к концу пятидесятых годов, Флеров был уже членом-корреспондентом Академии наук. Внешне он со времени нашего знакомства не изменился. Отсутствие волос не старило его, и они, всегда коротко подстриженные по бокам головы, торчали словно рожки, придавая лицу Флерова что-то бесовское.

Одним из приемов „работы локтями“ для Флерова стали телефонные звонки в Центральный Комитет партии.

— Владимир Филиппович, как всегда в трудную минуту обращаюсь к вам за помощью, — с этого часто начинался разговор Флерова с одним из наиболее влиятельных партийных чиновников, „курировавшим“ работы, связанные с атомной энергией. Мне не известно, кто был по образованию партийный босс и что привело его в аппарат ЦК. Он, конечно, великолепно знал цену своего кресла и понимал, что, поддерживая Флерова, может только укрепить свое положение. Действительно, всегда отчетливо проступавшее желание Флерова придать политическую окраску работам по синтезу новых химических элементов, было на руку партийному чиновнику. Если Флеров добьется успеха, то этот успех можно легко обыграть в газетах и по радио. Особенно, если учесть, что присвоение новому элементу названия можно связать с чьим-нибудь именем. Для пропаганды работа Флерова — благодатная почва, и я видел, что телефонные звонки Флерова в Центральный Комитет партии не проходят бесследно. Достаточно партийному боссу намекнуть, что Флерову надо помочь. И это уже хорошо. В каком-то институте разработали новый прибор. Многие хотят получить его первыми, и среди них Флеров. Флеров жалуется боссу на трудную жизнь, и тот обещает поговорить с кем надо. Однако был я раз свидетелем того,

как партийный чиновник одернул член-корреспондента Флерова, и тот, не отличавшийся смирным характером, скис, не решился спорить с аппаратчиком, в тот раз явно проявившим больше здравого смысла, чем физик.

— Георгий Николаевич, вы думаете, что из-за химического элемента сто два мы будем портить отношения со Швецией, — остановил аппаратчик Флерова, пытавшегося протолкнуть в газеты сообщение о том, что в Стокгольме учеными допущена ошибка.

— Ну, кто не ошибается в своей работе, — уже миролюбиво добавил босс, и Флеров понял, что дальнейший разговор бессмыслен.

Позднее мне пришлось по разным поводам несколько раз встречаться с партчином, и однажды, когда в разговоре была упомянута фамилия одного из секретарей ЦК КПСС, он снисходительно заметил:

— Они приходят и уходят, а мы остаемся.

Под „мы” он имел в виду таких, как он, партийных функционеров.

Наконец из Ленинграда начало приходить тяжелое оборудование. Начинался монтаж циклотрона, но обнаружилось, что рабочих не хватает. И тут главному инженеру пришла в голову блестящая мысль. Почему физикам и инженерам не поработать по вечерам вместе с монтажниками. Дополнительная заработная плата будет грошевой, но это не важно. Главное, что, монтируя циклотрон, мы изучим его и соберем лучше, чем монтажники. Ведь работать мы будем для себя. Через день мы вышли в вечернюю смену. Еще через неделю в газете „Комсомольская правда” появилась статья, в которой в патетических тонах описывалась „комсомольская инициатива” в Дубне. Никто из нас, физиков, в глаза не видел кор-

респондента, с пафосом писавшего о нас, как о людях, ему хорошо знакомых. Конечно, это главный инженер рассказал писаке из „Комсомольской правды” о нашем „героическом и самоотверженном труде”. А этот корреспондент, не потрудившийся поговорить хотя бы с одним из нас, лихо описывал нас. Удивляться тому, что написал корреспондент „Комсомольской правды” не следовало. Кто из нас верит газетным сообщениям о какой-нибудь „новой инициативе” или „новом почине” молодежи, например, в городе Ярославле? Никто. На прошлой неделе корреспондент провел час в Дубне, а сейчас пьет водку с председателем какого-нибудь колхоза, готовя статью о „колхозной молодежи”. Мы все это понимали, но было смешно читать про одного из наших теоретиков, что „по утрам в окно у него стучит ветка тополя”, и про другого физика, „с трудом по утрам сползающего с кровати; болит поясница”. Меня корреспондент изобразил в виде этакго комиссара, „молча обводившего глазами ребят”. Ребята жаждали крови и рвались в Москву, в редакцию газеты, расправиться там с корреспондентом. Но тот, как и следовало ожидать, избежал расправы.

Однажды я весь вечер пролежал на спине на холодном полу, закручивая гайки, и, вернувшись домой, как обычно, после ужина отправился гулять с Шурой по спящему уже городу. Шура ждала ребенка, и наши прогулки по вечерам были обязательны. Ночью я проснулся от тяжести в боку, которая начала перерастать в адскую боль. Скорая помощь увезла меня в больницу. Почки перестали работать. Месяц я провел в больнице, а потом два месяца — дома, начались осложнения. Лишь в конце января я был на ногах, а в феврале отвез Шуру в Москву. Все отступило на второй план. Наконец по телефону я

узнал, что у нас родилась дочь. Катя — так мы решили назвать ее по имени моей покойной матери.

Когда после болезни я вернулся в лабораторию, то нашел там большие изменения. Циклотрон был уже смонтирован, и вечерние работы физиков прекратились. Главный инженер был в приподнятом настроении. Ведь как-никак проделана огромная работа. Когда я вместе с ним прошел в зал, то был поражен. Смонтированный циклотрон был красив. Рабочих в зале уже не было, а техники и инженеры в белых халатах проводили какие-то измерения. Приближался момент, когда будут включены мощные радиоустройства, и тогда наступит волнующий момент — циклотрон начнет ускорять атомные ядра неона. Сбудется наша московская мечта. Наверное, в этот день в лабораторию надо будет принести бутылку шампанского и разбить ее горлышко о край магнита. Но все пошло иначе.

Главный инженер, проделавший огромную работу, решил этот день приблизить и приурочить к тому времени, когда Флерова не будет в Дубне. Пусть момент, когда атомные ядра неона, ускоряясь, раскрутятся по спирали, явится для всех сюрпризом, в том числе и для Флерова. И этот день будет днем триумфа главного инженера. Он будет героем дня, в Дубну примчатся корреспонденты газет. После этого, когда начнется разговор о дележе возможных наград, обойти главного инженера уже будет невозможно.

Но главный инженер недооценил своего помощника. А тот, зная о намерениях главного инженера, поспешил сообщить об этом Флерову. Флеров, разъяренный, примчался в Дубну и уже не уезжал оттуда, пока не были зарегистрированы первые ускоренные атомные ядра неона. Это был момент, подходя-

щий для распития бутылки шампанского, но Флерову и главному инженеру было не до этого. Жить под одной крышей они больше не могли, и Флеров сразу же нашел предлог обострить отношения с главным инженером. Начались шумные сцены в кабинетах Флерова и главного инженера. Флеров не нуждался более в главном инженере, а тот, понимая, что в Дубне ему ждать хорошего не приходится, быстро подыскал в Москве работу и уехал в свою „выигранную в лотерею” квартиру. Наблюдая за конфликтом, я не испытывал особого сочувствия к главному инженеру, но и не симпатизировал Флерову в его откровенном стремлении избавиться от своего недавнего помощника.

К этому времени лаборатория выросла уже, и в ней работало человек двести. Флеров нуждался в заместителе и однажды предложил мне занять эту должность. Я согласился.

Работа по усовершенствованию циклотрона продолжалась, и с каждой неделей становилось яснее, что недалек момент, когда мы начнем опыты. Вместе с молодыми физиками из Ленинграда, только что защитившими дипломные проекты, я готовил аппаратуру для наблюдения распада химического элемента сто четыре. Прибор, на котором мы собирались синтезировать сто четвертый элемент, выглядел довольно громоздким, и в шутку мы называли его „Слоном”. Наконец пришел день, когда первый раз мы с трепетом соединили нашего „Слона” с циклотроном. Все включено, и прибор показывает, что мишень из урана облучается атомными ядрами неона. Мы знаем, что в этих условиях сто четвертый элемент не образуется. Это означает, что ежели наш „Слон” начнет подавать нам какие-то сигналы, то верить „Слону” нельзя. Это будет лишь указывать на

то, что он чувствителен к электрическим разрядам, которые словно молнии время от времени бьют на его корпус. Увы, сигналы появились. Будем с ними бороться.

Наша работа — первый эксперимент на циклотроне. Нас трое, и теперь, когда видно, что предстоят многодневные круглосуточные дежурства на циклотроне, к нам присоединяются другие физики. Чтобы избежать бессмысленной траты времени, мои друзья решают освободить меня от дежурств. Я буду систематизировать накапливаемый материал. Мы не спешим приступать к синтезу сто четвертого элемента, а вместо этого усовершенствуем нашего „Слона”. И при этом регулярно „издеваемся” над ним. Мы специально вызываем мощные электрические разряды на его корпус, и появляющиеся сигналы пытаемся задавить. Наконец приходит момент, когда „Слон” на них не реагирует, молчит. Пора приступать к основным опытам. Но это будет уже после праздников.

Идет ноябрь 1961 года. Как всегда, лаборатория „отмечает” праздничный вечер в кафе „Дружба”. Гремит джаз, и почти до утра идут танцы. Никому в голову не придет мысль произнести какой-нибудь тост в честь Октябрьской революции. На нее всем чихать. Есть повод повеселиться, и этого достаточно. Рядом со мной сидит один из наших механиков. Ему пришлось много повоевать, и он даже награжден орденом Александра Невского. Как и все вокруг, я здорово захмелел и воспринимаю лишь куски рассказа соседа. Он что-то говорит о генерале Власове. Из окна видны идущие немецкие танки, а Власов в это время бреется. Где это, когда это? Под Москвой в 1941 году? То, что рассказывает механик, бывший танкист, не связывается в одно целое. Кажется, за

последнее время я здорово устал и „окосел” от одной рюмки.

После ноябрьских праздников начинаем опыт. На этот раз плутоний облучается атомными ядрами неона. Если сейчас наш „Слон” заговорит, это означает, что мы открыли сто четвертый элемент. О том, что происходит внутри „Слона”, мы узнаем с помощью двух приборов, расположенных на пульте управления циклотроном. В каждом из этих приборов движется бумажная лента, и носики стеклянных колбочек, наполненных красными чернилами, рисуют на каждой из лент линию. Самописцы, так называем мы эти приборы, соединены со „Слоном”. Техники включают циклотрон, и мы, сгрудившись около самописцев, напряженно следим за ними. Как рыболовы за поплавками своих удочек. Ключет? Наконец-то! Носик одной колбочки покачнулся и медленно пополз влево, пересек ленту и вернулся на прежнее место. Произошло деление какого-то атомного ядра. Неужели это сто четвертый элемент? Проходит полчаса, и снова носик того же самого самописца снова ползет до самого края ленты. Если это сто четвертый элемент, то это просто замечательно. Проходит несколько часов, и мы видим на ленте первого самописца уже пятнадцать сигналов, а на другом нет ни одного. Облучение продолжается. Вместе с Флеровым я прогуливаюсь по коридору. Флеров от удовольствия потирает руки.

— Ну, Сережа, я готов поспорить с вами на бутылку коньяка, что это сто четвертый элемент.

Что же, я был бы только рад этому. И у меня тоже почти нет сомнений, что сто четвертый элемент открыт нами. Но работа еще не закончена. Надо сделать еще один опыт, который развеет последние сомнения. А потом бежать за коньяком. Пожалуй,

одной бутылки по этому случаю будет мало. Мы на короткое время прерываем облучение и передвигаем нашего „Слона”, на которого глядим с восторгом, в новое положение. В этом положении сигналы должны исчезнуть. К нашему удивлению их стало в два раза больше! Что это означает? Флеров мрачнеет. Он явно разочарован и о коньяке и разговора уже нет. Но, может быть, мы все-таки наблюдаем распад сто четвертого элемента, и все дело в том, что мы неправильно рассчитали, куда надо было поместить „Слона”. Убедиться в том, что мы синтезировали сто четвертый элемент, можно, заменив плутоний ураном. Сигналы пропадут, вновь вспыхнет радость, снова начнутся разговоры о коньяке. Этого не произошло. Сигналы не исчезли. Итак, открытие сто четвертого элемента не состоялось. Но что же в таком случае мы наблюдаем? В одном мы уверены. Это не электрические помехи, а распад путем деления какого-то не известного нам атомного ядра.

Как быть дальше? Этот вопрос встает перед нами, и в который раз, собравшись в кабинете Флерова, мы спорим. Перед нами открываются два пути. Один — позабыть на время про сто четвертый элемент и в полную силу заняться охотой за „таинственным незнакомцем”, совершенно неожиданно для нас заявившем о себе. Впрочем, произошло ли это на прошлой неделе? Похоже, он присутствует уже несколько месяцев, и мы пытались „убить” его, принимая за электрические помехи. Второй путь — переделать аппаратуру так, чтобы она не была чувствительна к „незнакомцу”, забыть про него, избавиться от него и продолжить поиск сто четвертого элемента. Что же, этот вариант возможен тоже, но мне он не нравится. С утра до вечера мы говорим об одном и том же в кабинете Флерова, в коридоре, и в

словах Флерова я начинаю замечать холодок. Да, он вяло соглашается со мной, что продолжать изучение неизвестного атомного ядра нужно, но главное — надо его задавить и продолжить поиск сто четвертого элемента. Для него он остается главной целью исследований, а обнаруженный эффект — лишь досадная помеха в работе над сто четвертым элементом. Большая группа, недавно работавшая со „Слоном”, распадается, и вот снова мы только втроем строим планы, как продолжить работу по изучению „незнакомца”. Парадоксально, но, похоже, что легче всего выяснить „кто” он, проведя опыты в Москве на циклотроне в ЛИПАНе. Так мы и делаем.

Шаг за шагом мы, словно альпинисты, делающие последние шаги к вершине горы, приближаемся к моменту, когда сможем назвать имя „незнакомца”. С каждым днем растет убеждение, что мы находимся на правильном пути. И, наконец, приходит час, когда мы с полной уверенностью скажем, что имеем дело с америцием, хорошо изученным трансурановым элементом. Но на этот раз америций словно зажегся перед нами совсем по-новому.

Тем временем Флеров собирает новую группу, которая будет продолжать поиск сто четвертого элемента. Пока мы работали в Москве, нашего „Слона” распотрошили, и теперь он уже больше не наш. Другая группа делает для него новую начинку. Конечно, между мной и Флеровым ничего плохого не произошло. Я прихожу на совещания, которые он созывает, обсуждаю планы будущих исследований, но все сильнее ощущаю, что во время наших разговоров с ним не все сказано до конца. Это невысказанное я чувствую и понимаю, что оно связано с моим решением отойти от поиска сто четвертого элемента. Но что поделаешь. Идет 1962 год, а это

Означает, что прошло тринадцать лет с тех пор, как я пришел в сектор Флерова в ЛИПАНе делать дипломную работу. Вместе мы искали потом пути к маленькой атомной бомбе, а когда возникла идея заняться синтезом новых химических элементов, я остался с ним, в то время как бóльшая часть его сотрудников ушла от него. И вместе с ним на всяких совещаниях отстаивал нашу идею. Тринадцать лет совместной работы — это не так уж мало. Но теперь у меня есть свои собственные представления, что важно в науке, и мои взгляды не обязательно должны совпадать со взглядами Флерова. Я уже не мальчик в коротких штанишках. Что же касается того, какие факты важны, Флеров не хуже меня знает, что наиболее интересно в науке то, что не лезет в рамки известных теорий. Он это понимает, но настолько избалован славой, что хочет поймать жар-птицу, не меньше. И он не отступится от своей цели — синтезировать новые элементы, потому что здесь видит для себя наиболее прямой путь к шумному успеху.

Случилось так, что как раз в это время в лаборатории находился журналист, интересовавшийся наукой. В то время тема „физики и лирики” была еще модной. Я довольно часто встречался с ним и даже как-то обсуждал вопрос, не поработать ли ему с нами лаборантом. Раз, зайдя ко мне и плотно прикрыв за собой дверь, он рассказал мне о своей недавней беседе с Флеровым:

— Вы знаете, что он сказал о вас? Нет, конечно. Он назвал вас дезертиром. Вы испугались трудностей и вместо того, чтобы продолжать поиск сто четвертого элемента, занялись изучением малозначительного факта. Трудностей испугались вы, Сергей Михайлович.

Да, похоже, настало время вспомнить слова, ска-

занные мне когда-то в Москве. Для Флерова люди — пешки, которые можно переставлять с места на место. Я не жалею, что плечом к плечу работал с ним, но теперь я ему не дам. Теперь я буду сам выбирать свой путь в науке. У меня есть на это право. И еще: у меня рождено предчувствие, что перышко неизвестной птицы, которое было у меня в руках, начнет скоро отсвечивать красивым золотым отливом.

4. ПОЛУЗАПАД

Наиболее яркими и торжественными событиями в ранний период жизни Объединенного Института Ядерных Исследований стали заседания Ученого Совета. Приезжавших на них физиков из Польши, ГДР и других стран можно было отнести к наиболее авторитетным ученым — почти все они до войны работали в лабораториях Англии, Франции и Германии, некоторые пользовались мировой известностью. Конечно, все они понимали, что при принятии решений последнее слово будет за Москвой, но это, как мне казалось, не мешало им достаточно откровенно высказывать свои суждения о дубненских делах. О начале работы Ученого Совета было принято сообщать при передаче последних известий по радио и телевидению. Поэтому в первый день во время обеденного перерыва в зале устанавливали лампы и камеры, и, когда директор института открывал очередное заседание, телевизионная бригада на минуту нарушала работу Совета. Присутствуя на заседаниях Совета, я мог уловить несомненную заинтересованность иностранцев в дубненских делах, и она была не случайной.

Сравнивая членов Ученого Совета с молодыми физиками из Польши и других стран, можно было легко заметить „щель” в поколениях ученых, образовавшуюся в результате войны. Для молодых физиков, получивших образование после войны, дорога в западные лаборатории была закрыта. Поэтому Дубна выглядела, как некоторая „отдушина”, где можно было прикоснуться к „большой науке”. За-

ботясь о Дубне, иностранные члены Ученого Совета думали о судьбе молодого поколения физиков из их стран. Как правило после окончания работы Ученого Совета они ходили по лабораториям и знакомились с работой своих учеников.

Постепенно иностранцы начали работать и в нашей лаборатории. Первыми появились чехословацкие химики. Один из них возглавил большую группу, в которую входили также советские химики, а потом вошли и китайские. Уже позднее, когда отношения с Китаем стали портиться, я понял, что наша лаборатория была неплохой школой для китайских ученых, интересовавшихся химией плутония и урана, используемых как ядерное горючее.

Вместе со мной стал работать немецкий физик Виктор Бредель. Мы не стали близкими друзьями, но отношения между нами сложились откровенные и достаточно теплые. Меня никогда не оставляло ощущение того, что Виктора „точит червь”. Его отец, Вилли Бредель, был известным немецким коммунистом, участником гамбургского восстания моряков. Во время гражданской войны в Испании он был комиссаром интернациональной бригады. Виктор помнил, как в тридцатые годы в Гамбурге к ним домой приходил тогдашний руководитель немецких коммунистов Тельман. Оказавшись в Советском Союзе, Виктор Бредель на себе испытал, какова была „цена” немецкому коммунисту в Москве. Демобилизовавшись после войны из Советской армии, где он принимал участие в подготовке радиопередач для немецких солдат, Виктор решил стать физиком и поступить для этого в Московский университет. Но не тут-то было. По анкетным сообщениям его туда не взяли, и пришлось довольствоваться Педагогическим институтом, где уровень преподавания физики был намного ниже. Виктор не мог за-

быть этого унижения, и вряд ли оно было единственным.

В Дубну Виктор приехал уже из ГДР. Из разговора с Виктором я знал, что он не раз бывал в Западном Берлине. Наверное, у него, человека наблюдательного, сложилось весьма противоречивое представление об окружающем мире. Переезд в Дубну вряд ли принес умиротворение. И в этом немалую роль сыграл Флеров. Виктор очень быстро догадался, что Флеров не хочет подпускать близко к опытам по синтезу сто четвертого элемента иностранных физиков. Бредель видел этот своеобразный шовинизм и, как я замечал, едва сдерживался.

Когда срок работы Бределя в Дубне кончился, по существовавшему тогда обычаю ему устроили проводы. Секретарь партийной организации лаборатории, выйдя перед собравшимися в конференц-зале, начал разглазывать насчет того, что к Бределю, как немецкому коммунисту, мы испытываем особое уважение. Бредель довольно грубо оборвал эти излияния, сказав, что не понимает, кому нужна вся эта пустая болтовня.

Мой ровесник, Виктор Бредель недолго прожил после отъезда из Дубны. Через пару лет, приехав на несколько дней в Дубну, он внезапно умер от сердечного приступа. Я убежден, что ощущение лжи в окружающей жизни мучило Бределя, и он умер, не найдя ответа на стоявший перед ним вопрос.

Несколько неожиданно у нас установились дружеские отношения с китайской семьей, жившей в доме напротив. Жена профессора Цу гуляла во дворе с маленьким сыном, а Шура там же проводила время с Катей. Дети — о них мамы могут говорить с утра до вечера, и при этом исчезают все националь-

ные различия. Шура и Кай-Жуй подружились, а через некоторое время наши семьи стали встречаться то у нас, то на квартире Цу. Цу и Кай-Жуй не были похожи на других китайцев, работавших в институте. Кроме наших друзей разве что вице-директор института Ван Ган-Чан одевался по-европейски, а не в стандартные синие костюмы. Встречаясь с Цу и Кай-Жуй, мы смеялись, шутили. Политики мы не касались. Перед отъездом в Китай Кай-Жуй остригла коротко свои пышные красивые волосы.

— Кай-Жуй, зачем ты это сделала? — всплеснула руками Шура.

— Шура, — печально сказала Кай-Жуй, — ты не знаешь, как на меня посмотрят в Пекине, если я появлюсь там с моей прической.

Однажды после отъезда Цу в Китай я узнал, что скоро в Пекин возвращается работавший в нашей лаборатории инженер. Я нашел его и попросил передать Цу книги. Как мне показалось, китаец мялся с ответом, но все же я понял, что он согласен. Вечером я постучал в дверь его комнаты в общежитии. Войдя в комнату, я увидел два больших ящика, куда мой знакомый вместе со своим приятелем складывал вещи.

— Я принес книги для профессора Цу.

— Ящики с вещами уже закрыты, — объяснил мне китайский инженер.

В то время я еще не догадывался, что трещина в отношениях с Китаем расширяется. Китайцы в один день собрались и уехали из Дубны, когда отношения приняли характер откровенного разрыва, но члены Ученого Совета — китайцы — еще некоторое время продолжали приезжать на заседания. Однажды приехал и профессор Цу. Он не решился зайти к нам домой, но, встретив кого-то из знакомых во дворе нашего дома, передал через

него мешок с шерстяными вещами для детей, связанными Кай-Жуй. Этот мешок предназначался для жильцов дома.

Летом 1962 года Флеров предложил мне поехать с туристской группой на конференцию по полупроводникам в Англию. Это называлось „научным туризмом“. Тогда я занимался изготовлением новых по тому времени приборов из кремния, и поездка на конференцию была привлекательна. Кроме того, мы знали, что в Манчестере строят новый ускоритель атомных ядер. Может быть, мне удастся посмотреть, что там делается, познакомиться с планами английских ученых. Я согласился поехать, и мне даже обещали выдать несколько фунтов стерлингов на непредвиденные расходы.

Дня за три до отъезда ко мне позвонил уполномоченный КГБ города Мосенцев и попросил зайти к нему. Разговор начался издалека. Мосенцев, видимо, уже понаслышался о моем шефе Флере и знал, что у меня назревают какие-то трудности с директором, умеющим „ломать кости“ своим противникам. Не называя явно имени, Мосенцев похвастался, что если нужно, то „они“ могут кое-кому и „бороду подрезать“. Жаловаться в КГБ даже на своих возможных будущих врагов я не собирался, но внимательно слушал Мосенцева и понимал, что таким способом он хочет показать мне, что в КГБ ко мне хорошо относятся. Хорошо, хотя я ничего такого не сделал, чтобы заслужить их дружбу. В конце концов разговор свернулся к предстоящей поездке в Англию, и все стало ясно.

— Вместе с вашей туристской группой поедет наш человек. Он не знает английского языка. У меня к вам просьба, — продолжал Мосенцев, — если у него будут трудности, помогите ему. Когда ваша

группа соберется перед отъездом, он сам подойдет к вам.

— Мой английский язык не ахти как хорош, но если надо, пусть ко мне обращается.

Наша туристская группа первый раз собралась в Москве в холле гостиницы „Метрополь”. Кто-то представил нам человека, о котором говорил мне Мосенцев, и сказал, что мы обязаны выполнять все его указания и советоваться с ним по всем возникающим вопросам. От группы не отделяться. Все всё поняли. Чекист подошел ко мне, когда все стали расходиться, и сказал, что обо мне знает от Мосенцева. За день до отъезда группу вызвали в ЦК партии. Инструктор ЦК, надутый чиновник, начал нудно объяснять „правила поведения советских граждан за рубежом”. Если, например, пригласят в гости, то идти можно только вдвоем.

— А как же быть, если меня пригласят одну? — задала наивный вопрос молодая женщина, физик из Москвы.

Партийный чиновник и сам не знал, что делать в таком случае. Действительно, что должна сказать молодая симпатичная женщина, когда ее пригласят вечером посетить семью английского ученого? Цековец начал нести какую-то околесицу. Но на этом дело не кончилось.

— Если вам удастся посетить английскую фирму, постарайтесь все запомнить. Потом вы сравните с тем, что есть у нас.

— А мы не очень хорошо знаем, что у нас в разных местах делается. Например, в Новосибирске, — не унималась настырная девица.

Чиновник помрачнел.

— Может быть, вам не надо ехать в Англию? — пресек дальнейшие вопросы инструктор ЦК. После этого замечания девице-физику все стало ясно, воп-

росов она больше не задавала и вместе с остальными улетела в Лондон.

По приезде в Лондон нас повезли в гостиницу. Когда нам стали давать ключи, по двое размещая в номере, чекист взял ключ и пальцем указал на меня. Придя в номер, он тотчас же стал проверять, не лежит ли что-нибудь в ящиках стола, и обнаружил женское украшение. На мой взгляд, это была дешёвенькая брошь, но чекист обеспокоился.

— Наверное, мне ее подложили, хотят поймать.

Мне это показалось чушью, но я не стал спорить и отнес брошь дежурному в холле. На другой день мы уехали в Эксетер. Поселили нас в студенческом общежитии. Моим соседом оказался некто Абдуллаев из Баку. Если я не ошибаюсь, именно этот Абдуллаев Гасан Мамед Багир оглы со временем стал президентом Азербайджанской Академии наук. Утром я, как и все остальные, пошел на первое заседание. Чекист сел рядом со мной. Я с трудом понимал доклады из чужой для меня области физики, а для моего соседа, наверняка, все было набором непонятных звуков. Неожиданно он проявил себя человеком довольно наблюдательным. Внимательно перелистывая книжечку с аннотациями докладов, он обнаружил в каком-то месте, что страницы перепутаны, а две даже отсутствуют. Его вывод был прост:

— Это для меня такую книжечку сделали, проверяют, буду ли я ее читать.

С моей все было в порядке. Что это? Случайность? Не знаю. По просьбе чекиста я отнес книжечку в секретариат и, объяснив, что мой коллега плохо говорит по-английски, попросил дать книжечку без дефектов.

На конференции не обсуждались проблемы прикладного характера, и я не знал, с кем поговорить

по интересующему меня вопросу. Наконец, кто-то сказал, что мне надо бы встретиться с профессором Митчеллом.

— Давайте поговорим после ужина, — предложил Митчелл.

После ужина наша туристская группа обычно отправлялась гулять по Эксетеру. Странное зрелище. Мы шли по одному и тому же пути кучкой. Небольшое стадо. Никто не пробовал отделиться от группы и уйти один побродить по городу. Как дети из детского сада. Разве что не шли парами, взявшись за руки. На сей раз я сказал чекисту, что мне надо поговорить с Митчеллом, и я не пойду гулять. Из ресторана Митчелл вышел не один. Он представил мне своих знакомых. Пара из Индии, физик из Южно-Африканского Союза.

— Может быть, вы присоединитесь к нам? Мы собираемся поехать в одну деревню, миль за тридцать. Там делают хороший яблочный сидр.

Уехав, я нарушу инструкцию. Потом хлопот не оберешься. Надо сделать так, чтобы ко мне нельзя было придрататься.

— Мои друзья будут беспокоиться, что я исчез. Может быть, мы догоним их, и я предупрежу, что уехал с вами?

Я знаю путь группы, и через пять минут две автомашины стоят у тротуара. Я объяснил чекисту, что мне просто необходимо ехать.

— Езжайте, но возьмите с собой кого-нибудь еще.

— Профессор Абдуллаев хотел бы к нам присоединиться. Можно?

— Конечно, — ответил Митчелл.

Будущий президент Азербайджанской Академии наук соображал медленно и до него не все сразу дошло. Я чуть ли не силой втолкнул его в одну из автомашин, а сам сел в другую. Мы проехали с кило-

метр, как вдруг передняя автомашина остановилась, и Абдуллаев вылез из нее. Выскочив тоже, я спросил, в чем дело.

— Я не могу ехать без разрешения Вула. Академик Вул — официальный глава делегации, и я должен иметь его разрешение на поездку.

— Но это абсурд, — пытался я убедить Абдуллаева, — все должны сидеть и ждать, когда вы вернетесь, получив разрешение Вула. Смешно и неловко получается. Поехали. Ничего не будет. Не бойтесь.

— Нет, я не могу ехать без разрешения Вула.

Абдуллаев ушел. Иностранцы с любопытством смотрели на нас. Я снова сел в автомашину.

— Ваши друзья нас боятся? — спросил Митчелл.

— Нет, — постарался я выпутаться из дурацкого положения. — Он себя плохо чувствует.

Частично, это было правдой. Абдуллаеву было плохо, как случается при обычном животном страхе. На сей раз из опасения нарушить инструкцию. В Эксетер мы вернулись часа в два ночи. Абдуллаева в комнате не было. Я решил заглянуть в соседнюю комнату. Там на стульях и кроватях сидела вся туристская группа. Они ждали, когда я вернусь домой. Кто-то из сидевших обрушился на меня с упреками. Они, оказывается, обо мне беспокоились. Как я мог уехать один?

— Твое счастье, что ты меня предупредил, — сказал мне на другой день чекист, — были бы у тебя в Москве крупные неприятности.

Я рассказал Митчеллу о своем желании попасть в Манчестер, и по возвращении в Лондон в отеле меня ждало приглашение приехать туда. Но передо мной вновь стоял вопрос, как это сделать, не влипнув в неприятную историю. Снова я говорил с чекистом, объясняя ему необходимость

поездки. Он не возражал, но и боялся дать согласие.

— Пошли к руководителю делегации, академику Вулу.

Старый партиец, Вул отыскал мудрое решение. Пусть со мной поедет член советской делегации, сотрудник отдела науки ЦК партии. Поездка на научный симпозиум была для партийного чиновника поводом прокатиться на Запад, и он согласился поехать со мной. В посольстве мнения разделились. Одни считали, что после недавней истории с советским шпионом в адмиралтействе лучше от поездки воздержаться. Другие только рукой махнули:

— Пусть едут. Чего им-то опасаться?

Мы ехали на поезде. За окнами мелькали аккуратные домики, склоны холмов с пасущимися овцами.

— Да, — глубокомысленно заметил партийный чиновник, — здесь коммунизм можно быстро построить.

„Да, — про себя подумал я, — лучше этого не делать. Овец жалко”.

В Манчестере нас ждали на перроне вокзала. Мы сразу же поехали в лабораторию. Там мне показали ускоритель, и я смог поговорить с англичанами об их планах на будущее. У меня сложилось впечатление, что они не будут соревноваться ни с американцами, ни с русскими по части открытия новых химических элементов. По возвращении в Лондон произошел странный случай. Я встретил своего попутчика, партийного чиновника, вместе с начальником международного отдела Академии наук, будущим генералом КГБ. Партийный босс обратился ко мне со словами, которых я никак от него не мог ожидать:

— От поездки в Манчестер осталась пара фунтов

стерлингов. У вас, туристов, с деньгами, наверное, туго. Возьмите их.

Я не стал отказываться, но стоило моему доброжелателю уйти, как начальник международного отдела строго обратился ко мне:

— Эти деньги принадлежат Академии наук. Пожалуйста, верните их мне.

Я не стал спорить с начальством.

Через несколько месяцев мне неожиданно пришлось еще раз поехать в Англию. На сей раз в составе официальной делегации Комитета по Атомной Энергии. Поездка обещала быть интересной. Знакомство с западным миром было поверхностным, и тянуло еще раз взглянуть на него. К тому же открывалась возможность купить что-нибудь для жены и дочери из вещей, совершенно недоступных простому советскому человеку.

Кроме меня, из Дубны должен был ехать физик-теоретик, ученик академика Боголюбова. Главой делегации назначили украинского академика Пасечника. Ходили слухи, что Пасечник связан с КГБ. Кто-то еще рассказывал, что будто после войны он был чуть ли не комендантом Вены в течение короткого времени, но в это я не верю. Всего нас было человек восемь, физики и инженеры, специалисты по ускорителям заряженных частиц. Перед отъездом нас собрали в Комитете по Атомной Энергии, и один из его руководителей произнес напутственное слово. После этого нам представили невысокого плотного мужчину с курчавыми волосами и довольно тупой физиономией.

— Как вы понимаете, надо, чтобы в вашей делегации был представитель органов безопасности. Познакомьтесь, Терентьев Василий Иванович. Будем считать, — продолжал комитетский чин, — что Ва-

сий Иванович работает в Институте Атомной Энергии инженером.

Через несколько дней мы начали колесить по Англии: Бирмингам, Манчестер, Глазго. Вместе с нами ехали двое англичан, один из Атомной комиссии, другой — переводчик. Переводчик блестяще владел русским языком и даже рассказывал нам о том, что говорит „Радио Ереван”. В Харвелле группа разделилась. Основная часть уехала в Резерфордскую лабораторию смотреть новый ускоритель атомных частиц. Пасечник, Терентьев и я остались в Харвелле. Вместе с нами остался и переводчик.

Бедняга Терентьев мучился всю дорогу. Английского языка он не знал, а если знал бы, то это было бы даже хуже для него. О чем мог он говорить с английскими учеными? Во время приемов он сидел, уткнувшись носом в тарелку, и молчал. Думаю, что англичане быстро „раскусили”, кто он. Теперь в Харвелле Терентьев не знал, что делать, и увязался со мной смотреть одну из лабораторий. После обеда руководитель отдела ядерной физики Бретчер пригласил нас в конференц-зал. Там сидело довольно много народу.

— Мы хотим попросить наших гостей, — обратился к нам Бретчер, — рассказать о своих работах: Поликанова об исследованиях в Дубне, Пасечника — в Киеве, а инженера Терентьева — в Институте Атомной Энергии.

Мне было легко. Рассказывать о результатах наших опытов было даже приятно, потому что о нашем открытии на Западе еще мало кто знал. Кончив доклад, я сел на свое место. Я буквально млел от удовольствия, предвкушая сцену с Терентьевым. Будет настоящий спектакль. Так и надо ему. Нечего кагэбэшникам таскаться вместе с учеными. Кажется, англичане действительно имеют чувство юмора.

Объявляя о наших докладах, Бретчер добавил, что на семинар, кроме нашего переводчика, приехал еще один человек из Лондона, свободно владеющий русским языком. Так что трудностей с переводом не будет.

Доклад Пасечника был слабоват, но меня его работы совсем не интересовали. Я, в основном, следил за ушами и шеей „инженера” Терентьева. Сначала они покраснели, а потом приняли густой малиновый оттенок. Что будет говорить Терентьев? Он не только с англичанами, но и с нами, практически, не разговаривал. И не зря однажды, когда я гулял по улице с физиком-теоретиком из Дубны, тот заметил, что Терентьев более опасен для нас, чем для англичан. И это было правильно. Мало ли что придет в голову этому типу, когда в Москве он представит своему начальству отчет о поездке.

Пасечник закончил доклад, и тут Бретчер обратился с благодарностью к советским гостям за интересные сообщения. Я был разочарован. Почему Бретчер не дал Терентьеву сделать доклад? Когда мы вышли из зала, я спросил об этом Пасечника.

— Когда вы выступали, я сказал Бретчеру: „Давайте не будем делать доклада Терентьева”. И Бретчер согласился.

По приезде в Москву мы должны были представить в Комитет по Атомной Энергии отчет о нашей поездке, описать свои впечатления от английской ядерной физики. Закончив эту работу, мы решили отметить окончание нашей поездки ужином в ресторане „Арагви”, но уже без Терентьева.

— Терентьев написал хороший отчет, — как бы невзначай заметил глава делегации Пасечник.

Это значило, что Терентьев „не накапал” на нас. Впрочем, судя по всему, его главной задачей было

купить шубу для молодой жены. Когда в последний день вместе с будущим вице-президентом я искал кофточки для жены, на Риджент-стрит мы лицом к лицу столкнулись с красным, вспотевшим Терентьевым, обвешанным пакетами. Терентьев не узнал нас. Разведчик был занят делами по горло. Магазины скоро закрывались, а он еще не выполнил все заказы жены. Для себя Терентьев купил котелок, и смотреть на его толстую физиономию без смеха было трудно. Смеяться же над ним было опасно.

То, что вместе с учеными ездили на Запад сотрудники КГБ — не было ни для кого секретом. Но что меня поразило в случае с Терентьевым, — это бросающаяся в глаза абсолютная его неинтеллигентность: с первого взгляда на него было ясно, что перед вами стопроцентный малограмотный „держиморда”. Я дорого заплатил бы за возможность прочитать отчет Терентьева о нашей поездке.

Первые годы жизни в Дубне рождали ощущение устроенности и уюта. Не надо было более скитаться по чужим углам. Пусть маленькая, но все-таки своя квартира нас вполне устраивала. На работу не надо было уезжать с рассветом. Удаленность от Москвы затрудняла частые поездки туда, и постепенно связи с московскими знакомыми прервались. Незаметно Дубна становилась для нас маленьким замкнутым мирком, и происходящее за ее пределами не слишком волновало. Работа заполняла всю неделю, а по субботам и воскресеньям мы встречались с друзьями, пили вино, танцевали, пели песни. Из Москвы доходили магнитофонные записи песен Окуджавы, и не было вечеринки, чтобы мы их не пели. Летом мы редко расходились по домам, не прогулявшись по берегу Волги, и часто встречали там рассвет. Иногда кое-кто, разгоряченный, лез ку-

паться. В три часа ночи становилось холодно, но устоять против искушения окунуться в Волгу было трудно.

Может быть, странно, но жизнь в маленьком городе на Волге не рождала ощущения того, что мы провинциалы. Вокруг нас, больше чем в любом другом городе Советского Союза, ощущалась некоторая близость к западной жизни. Это чувство возникало не только из-за довольно частых приездов в Дубну западных ученых. Ощущение близости к Западной Европе приносилось работавшими в Дубне венграми, поляками и другими „демократами”. К этому надо добавить, что поездки в капиталистические страны были для дубненских физиков более часты, чем для советских ученых, работавших в иных советских институтах. Надо заметить, что до середины шестидесятых годов поездки в Дубну составляли часть развлекательной программы знаменитостей, приезжавших в Советский Союз. Мне, например, пришлось как-то популярно рассказывать, чем мы занимаемся, лидеру итальянских коммунистов Луиджи Лонго и еще не попавшему в опалу соратнику Тито Ранковичу. Наведывались в Дубну и почетные гости из Москвы. Как-то мы с Флеровым примерно час провели с одним из первых космонавтов Поповичем, объясняя ему, что происходит при столкновении атомных ядер.

Конечно, главным, что избавляло нас от ощущения провинциализма, был явственно ощутимый взлет в научных делах. Во всяком случае я это чувствовал по нашей лаборатории. Единственным местом, где проводились исследования, подобные нашим, было Беркли. Между лабораториями шло соревнование, и не было ясно, кто будет победителем.

Для жителей окрестных сел, бедных и убогих, Дубна была почти „заграницей”. Они время от времени наведывались в Дубну, чтобы походить по магазинам и купить кое-что. Ведь в Дубне поначалу иногда и такие вещи купить можно было, что и в Москве не сыщешь.

Одной из приятных сторон жизни в Дубне в начале шестидесятых годов было обилие национальных праздников стран-участниц института. Естественно, это были торжества, связанные с образованием после войны государств советского блока, но политическая сторона дела нас не волновала. Как и наш институт, мы были молоды и мы жаждали повода повеселиться. Эти вечера проходили в Доме ученых. Начинались они с парадных выступлений. Официальное лицо — иногда это был посол — произносило стандартные, скучные речи с обязательным выражением благодарности Советскому Союзу. После этого секретарь городского комитета партии суконным, казенным языком поздравлял ученых „братской страны”. Затем все с облегчением переходили в другой зал, где на столах стояли национальные „горячительные” напитки, вроде чешского „Будвара”, и закуски. Вечер завершался танцами, и тут наступал долгожданный момент, когда переставали действовать советские правила. Танцевали всё, что было модно на Западе, и не было дружинников с красными повязками на рукавах, пытавшихся „остановить безобразие”. Не все было тогда в Дубне, как в обычном советском городе. По домам расходились под утро.

Однажды во время чехословацкого вечера мы сидели и пили вино с чехами — химиками из нашей лаборатории. Среди них была милая пара — Здена и Володя. И тогда Здена сказала слова, которые я не могу забыть до сих пор.

— Не выпить ли нам за время, когда Чехословакия станет одной из советских республик?

Здена и Володя вернулись в Чехословакию до августа 1968 года. Володя оказался среди тех, кто не пошел после вторжения советских войск на компромисс. Он не побоялся репрессий и отверг все попытки уговорить себя, не поддался запугиваниям. Я не сомневаюсь, что грохот советских танков в Праге убил у Здены всякие иллюзии по поводу советской власти. Но тогда, в Дубне, будущее могло показаться светлым. Нас объединяла наука, и мы наивно мечтали, что дальше все будет становиться только лучше.

Однажды во время одного из увеселений в Доме ученых я оказался рядом с Барвихом, вице-директором института, физиком из ГДР. В зале был полумрак, ансамбль венгерских студентов играл модную в то время на Западе мелодию. Барвих был в веселом настроении.

— Теперь нам не хватает в Дубне только негров, — пошутил он.

Месяца через три после этого разговора у Барвиха кончился срок работы в Дубне, и на прощальном вечере-банкете мы пожелали ему удачи. По пути домой Барвих посетил одну из международных конференций и после ее окончания сделал заявление, что остается на Западе. В то время Барвих был уже не молод, и понять психологическую основу его поступка не так просто. Он принадлежал к научной элите ГДР, и материальные блага и привилегии, которыми он пользовался, были бесспорно достаточно высоки, чтобы обеспечить условия жизни, отвечающие наивысшим стандартам ГДР. И все же Барвих совершенно сознательно отказался от всего этого и пустился в опасное плавание.

В 1945 году Барвих добровольно предложил свои услуги Советскому Союзу как специалист в области ядерной физики. Это был момент великой трагедии Германии, и осуждать Барвиха за то, что он, спасая свою семью, пошел на восток, а не на запад, несправедливо. Что он знал о Советском Союзе? Ничего, кроме того, что Советская армия явилась главной силой, сокрушившей Германию. И, возможно, роковую роль сыграла слепая вера в авторитет учителя. Им для Барвиха был Нобелевский лауреат Герц, оказавшийся в Советском Союзе. Может быть, именно здесь надо искать импульс, приведший Барвиха в секретный институт в Сухуми, на берегу Черного моря. Там, вместе с другими немецкими учеными, Барвих занимался разработкой одной из технических проблем, имевших отношение к производству горючего для атомного оружия. Через несколько лет после возвращения на родину Барвих снова приехал в Советский Союз, но на сей раз уже в качестве вице-директора института в Дубне. Выросший в годы Веймарской республики Барвих был свидетелем расцвета и краха нацизма в Германии. Возможно, что жизнь в советском обществе и в ГДР привела его к убеждению, что любая форма тоталитаризма унижает человеческое достоинство. Барвих не был молодым немецким мальчиком, рвущимся за свободой на Запад. Он ездил туда более или менее свободно, как вице-директор международного центра. Возможно, эти поездки убедили его в том, что весной 1945 года он допустил ошибку. Похоже, что решение остаться на Западе было попыткой исправить ее, хотя бы с запозданием. Я не был близко знаком с этим уже далеко не молодым мужчиной и не могу судить о нем глубоко. Но мне его стремление вырваться из паутины тоталитарного общества и обрести личную свободу было близко и понятно.

Бегство Барвиха в середине шестидесятых годов вызвало падение заместителя директора „по режиму”, старого энкаведешника и партийца. По законам чекистской мафии коллеги использовали подвернувшийся случай и выпихнули недоглядевшего за Барвихом чекиста на пенсию. Его место занял Терехин, более молодой и ловкий. Это был тот самый мрачный верзила, с которым меня после переезда в Дубну однажды на улице познакомил шеф дубненских гебешников Мосенцев. Тогда Терехин был просто „опер”, потом он стал начальником отдела кадров института. Барвих „помог” этому полуграмотному мужику сделаться заместителем выдающегося математика и физика академика Боголюбова, ставшего к тому времени директором института в Дубне.

5. БУДНИ

То небольшое облачко, которое несколько омрачало мои отношения с Флеровым после того, как я отказался от участия в работе по синтезу сто четвертого элемента, понемногу сгущалось. И возможно, причиной этого было не только то, что я — его верный союзник в наиболее трудные для нас годы — проявил вдруг непокорность. Причины охлаждения в наших отношениях были, кажется, более глубокими. Малозначительный по его мнению факт, помеха для синтеза сто четвертого элемента, оказался интересным и новым физическим явлением, привлекавшим к себе внимание многих западных ученых. Думаю, что Флеров в душе должен был упрекать себя за то, что поначалу постарался подчеркнуть свою непричастность к обнаруженному „незнакомцу”, отказавшись даже поставить свою фамилию в список авторов первой публикации.

Так или иначе, Флеров по-прежнему считал, что наиболее важная и интересная работа в лаборатории — охота за сто четвертым элементом. Было бы полбеды, если, считая так, он отнесся бы с уважением к стремлению других физиков заниматься интересующими их проблемами. Увы, этого не произошло, и вскоре многие почувствовали, что их исследования — работы как бы второго сорта.

Настроения Флерова еще более окрепли, когда во время встречи группы физиков с Хрущевым он пообещал открыть сто четвертый элемент к предстоящему съезду партии, и Хрущев „успокоил” Флерова, сказав, что если Флеров немного опозда-

ет с открытием — не беда, созовут еще один съезд партии.

Любой ценой открыть новый элемент — это стало главной темой разговоров в кабинете Флерова. Недавно Юрий Гагарин побывал в космосе, и теперь американцы постараются взять реванш. Как? Бросят все силы, чтобы синтезировать сто четвертый элемент. Возражать против этих, явно абсурдных аргументов Флерова было невозможно. Он приходил в ярость.

Меня, занимавшегося исследованием нового физического явления, обнаруженного в лаборатории, научная политика Флерова не затрагивала, потому что я видел, что дальнейшее изучение его надо проводить не на нашем циклотроне, а в других местах. Но я не мог оставаться равнодушным к тому, что происходило в лаборатории, к созданию которой имел самое прямое отношение. Я оставался заместителем Флерова, и меня интересовали по-прежнему научные проблемы, которые могли исследоваться на нашем циклотроне.

Но каков мог быть выход из тупика, в который мы начали заходить? Выход был. Надо на время остановить все научные исследования на циклотроне и передать его в распоряжение главного инженера. Надо, как на всех существующих в мире циклотронах, извлечь, вытащить наружу, „вывести” пучок ускоренных атомных ядер. Чувствуя поддержку друзей, я не раз пытался убедить Флерова в необходимости этого шага. Но все мои усилия были напрасны. Я лишь вызывал раздражение Флерова и едкие замечания в мой адрес. Мы не можем терять времени, пусть другие подождут. Вот откроем сто четвертый элемент, и после этого займемся другими работами.

Мы решили обсудить наши дела без Флерова.

В административном корпусе нашли свободную комнату и часа два толковали, не опасаясь вмешательства нашего директора. Конечно, отрицать роль Флерова в создании лаборатории никому из нас не приходило в голову. Его заслуги очевидны. Работы по сто четвертому элементу тоже надо продолжать. Но нельзя придавать всему этому делу какой-то просто маниакальный характер. Нельзя все сводить только к этому. Мы начинаем заниматься новой, сравнительно мало еще изученной областью ядерной физики, и неизвестно, что окажется самым интересным.

Если мы сможем вывести пучок атомных ядер из циклотрона, то несколько групп смогут работать одновременно. Надо на этом настаивать на ближайшем научно-техническом совещании, преодолеть возражения Флерова. Всем вместе дружно выступить и добиться своего. Поговорили, разошлись... и тотчас один из „заговорщиков” побежал к Флерову. Им был один из моих приятелей. Он оказался хоть и мелким, но настоящим предателем. Его преданность Флерову пересилила, и вечером тот уже знал о „заговоре”. Утром Флеров начал со мной, ничего не подозревающим, странный разговор:

— Сергей Михайлович, мне кажется, что я в лаборатории лишний человек.

— Что вы, Георгий Николаевич, откуда вы это взяли?

— Наверное, мне надо уйти из лаборатории. Я думаю, что директором назначат Вильгельми. Вы хотите иметь его своим директором?

Вильгельми, польский физик из Варшавы, был членом Ученого Совета института. Почему Флеров назвал Вильгельми, понять трудно, но так он, видимо, хотел запугать нас перспективой иметь директором лаборатории иностранца. Я знал Вильгельми и

ничего не имел против него, но зачем уходить Флерову? Не подозревая, что „заговор” раскрыт, я не мог догадаться, зачем передо мной разыгрывается такая комедия. Флеров уйдет? Да его никакой силой не столкнешь с его места. И у него полное право на него. Вскоре состоялось заседание научно-технического совета, и мы добились там решения передать на время циклотрон новому главному инженеру. Флеров, однако, не забывал своих поражений. Через несколько лет главному инженеру стало слишком неуютно в лаборатории и он уехал в Киев.

Прошло некоторое время, и Флеров как-то пригласил меня к себе поговорить. Я слишком перегружен административной работой, мне надо заниматься больше наукой. Лучше будет, если его заместителем по научной работе станет чешский химик, а я останусь начальником экспериментального отдела. Я понимал, что мои научные успехи Флерова не волнуют. Просто пришел момент, когда мое влияние надо ограничить. Я стал для Флерова помехой.

— Конечно, если вы хотите, то можете тоже подавать на Ученый Совет документы для рассмотрения.

Но меня и самого не тянуло ходить в роли заместителя становящегося все более нетерпимым директора. Властный и мстительный хозяин лаборатории уже не видел предела своей власти. Член-корреспондент Академии наук несколько раз выдвигался в академики, но пока еще не прошел туда.

Однажды Понтекорво предложил мне встретиться и поговорить. Был ясный, солнечный день, и мы прогуливались по дорожке перед нашей лабораторией. Флеров выдвигается в академики, и академик Понтекорво спрашивал меня, были ли у Флерова ошибочные работы. Нет, ошибочных работ нет. Конечно, вопрос о сто втором элементе, которым мы

занимались в Москве, и о сто четвертом, на мой взгляд не вполне ясен, но все доделано до конца. Есть противоречия, но в целом в работах Флерова, особенно относящихся к его раннему периоду работы, все чисто. Можно ли его выбирать в академики? Конечно.

В тот раз Флеров не прошел, и я думаю, что он, видевший меня прогуливающимся вместе с Понтекорво, предполагал, что я говорил о нем что-то не лестное.

Нетерпимость Флерова раздражала многих, и чувствовать, что он смотрит на нас как на стадо овец, было отвратительно. Бывало, придя утром на работу, мы узнавали, что ночью ему пришла в голову мысль почистить камеру циклотрона, и он, не посоветовавшись с нами, дал указание разобрать камеру. Нам, пришедшим в зал утром, только плечами пожимать оставалось, глядя на разбросанные на полу детали.

Ко всему этому моя экспериментальная работа сместилась в Бухарест. Там у меня установились хорошие связи с одной из румынских групп, и мы начали проводить совместные исследования открытого в нашей лаборатории явления. Мы подготовили аппаратуру для опытов, и начались регулярные поездки в Бухарест. Маленький циклотрон в Бухаресте очень хорошо подходил для наших исследований, но не только поэтому мы ездили в Румынию с удовольствием. Было интересно познакомиться с этой, словно находящейся на окраине Европы страной, где летом облачко на небе было редкостью. Конечно, работа в Бухаресте была делом временным. Возможности работы на циклотроне были ограничены, и я все чаще задумывался, чем буду заниматься дальше.

Еще в годы работы в ЛИПАНе я понял, что наука — это не только размышления над статьями в научных журналах, обдумывание опытов и яркие всплески сигналов на зеленоватом экране осциллографа. Борьба — причем острая и порой беспощадная борьба за место под солнцем — пронизывала жизнь ученых. Борьба за должности, за время, выделяемое для проведения опытов на ускорителе частиц, за возможность изготовить в механической мастерской аппаратуру и т. п. составляла неотъемлемую часть их жизни. Шла борьба и в Объединенном Институте Ядерных Исследований, и наша лаборатория участвовала в этой бескровной войне. Как в настоящей войне, здесь важно было захватить нужные стратегические позиции. Одной из них был партийный комитет института.

Влияние партийного комитета на жизнь института особенно усилилось, когда вместо члена-корреспондента Блохинцева директором института стал академик Боголюбов. То, что при бывшем директоре партийный комитет меньше вмешивался в производственные дела, а занимался больше вопросами идеологическими, совсем не означало, что Блохинцев не допускал усиления влияния партии. Просто время прихода к власти академика Боголюбова совпало с появлением какого-то постановления ЦК КПСС „об усилении роли партийных организаций”. Мне кажется, что академика Боголюбова такое положение даже устраивало, освобождая его от части дел, ему мало интересных. Весьма чуткий ко всяким веяниям из Москвы, академик Боголюбов не пытался вникать в дела отдельных лабораторий, следя лишь за тем, чтобы в жизнь проводилась политика, диктуемая Комитетом по Атомной Энергии и Центральным Комитетом партии. В этой ситуации борьба за ма-

териальные ресурсы все чаще переносилась в партийный комитет.

Попав туда вскоре после моего назначения заместителем Флерова, я регулярно переизбирался на протяжении нескольких лет. В партийном комитете я занимался делами, связанными с сооружением новых крупных экспериментальных установок и модернизацией старых. Надо сказать, что интерес к делам партийного комитета можно было заметить и со стороны беспартийных. Так мне однажды пришлось быть председателем комиссии, проверявшей состояние дел со строительством атомного реактора в лаборатории Нобелевского лауреата академика Франка. Не будучи коммунистом, Франк весьма внимательно изучал проект решения комиссии, который я подготовил. Я хотел помочь Франку и включил в документ замечания, касающиеся строителей. Именно это нужно было Франку, но он сам обратил мое внимание на необходимость вставить пункт, подчеркивающий важность усиления роли партийной организации в его лаборатории.

Однажды во время моей работы в партийном комитете я оказался участником, хоть и не очень крутой, но все же расправы над одним из физиков. Шло очередное заседание. На него неожиданно явился административный директор. Он коротко объяснил причину своего прихода. В субботу сотрудник лаборатории Франка грубо оскорбил физика из ГДР. Конфликт вышел из-за пустяка, но советский физик допустил грубые выражения и, в частности, сказал, что никто не звал немецких физиков в Дубну. Партийный комитет должен утвердить решение дирекции и Комитета по Атомной Энергии перевести русского в новый советский институт в Серпухове. Секретарь партийной организации нашей лаборатории подлил в огонь масла:

— Я хорошо знаю немецкого физика. Он из рабочей семьи, настоящий коммунист.

Члены партийного комитета, и я в том числе, утвердили решение дирекции. На другой день я поговорил с молодыми физиками и понял, что ссора была, но немец тоже вел себя не лучше. Мне стало стыдно. Почему я не воздержался от голосования, а поддался общему настроению. Надо было разобраться в этой истории самому. Решив исправить ошибку, я отправился к первому секретарю городского комитета партии. Я старался убедить его, что решение парткома необоснованно. Дело надо пересмотреть и немецкой группе сообщить, что немецкий физик вел себя тоже по-хамски. Если уж увольнять кого-нибудь из института, то надо увольнять обоих.

Секретарь городского комитета партии ответил мне отказом и намекнул, что я не первый вступился за сотрудника Франка. Но дело кончено, и разговор о пересмотре быть не может.

Потом я узнал, что административный директор по каким-то личным обстоятельствам хотел разделиться с сотрудником академика Франка, и тут подвернулся случай. Что касается секретаря городского комитета партии, то надеяться на него с моей стороны было глупо. Он был приятелем административного директора и они вместе глушили коньяк.

Через год секретарь городского комитета партии переехал в Москву с повышением. Он начал работать в Центральном Комитете партии, и к тому же вдруг обнаружилось, что у него чин генерала КГБ. Когда мне об этом рассказали, я изумился. Ведь карьера его началась со скромной должности инженера-электрика в филиале ЛИПАНа. Впрочем, все секретари городского комитета партии в Дубне делали быструю карьеру. После Дубны некоторые из них уходили на „учебу” в Высшую дипломатичес-

кую школу, получали квартиры в Москве, а потом уезжали за границу. Например, в Нью-Йорк, в советскую миссию. Но не все забывали Дубну. Так партийный деятель, о котором я говорил, иногда наведывался туда попойнствовать, а жены дипломатов приезжали показать своим подругам зарубежные наряды и драгоценности.

Постепенно мое положение в моей родной лаборатории стало несколько необычным. С одной стороны, окружающие видели во мне одного из ее создателей, всего лишь несколько лет тому назад вместе с ее директором Флеровым „закладывавшим” первые камни в ее фундамент. В то же время охлаждение в наших отношениях тоже бросалось в глаза. Для меня его основной причиной было резкое расхождение во взглядах на свободу выбора научной проблемы. Флеров считал возможным подчинить своей идее двести человек и заставить их идти в одном направлении. Мне это казалось противоестественным, и я не скрывал своего мнения. Начало проявляться и разное отношение к западным ученым. Для Флерова они были прежде всего конкурентами, в то время как меня тянуло сотрудничать с ними, не придавая особого значения приоритетным делам. Я был готов „делать открытия” вместе с ними, в то время как Флеров хотел их делать без них.

Мои опыты вне лаборатории отнимали не очень много времени, и поэтому я, в основном, находился в Дубне. Наблюдая за тем, что происходит, я интересовался работами по синтезу сто четвертого элемента. Понятно, что успех в этой области позволит поднять шум в газетах, но если исследования приведут к надежным результатам, то почему и не сообщить об этом широким слоям публики. Ведь люди теперь грамотные. Ничего плохого в этом нет. Однако тре-

бования к результатам должны быть очень высоки. Если сообщать об открытии нового химического элемента и давать ему название, то слова „может быть” не подходят. Прежде чем присвоить элементу имя надо сказать очень уверенное „да”. Думая так, я, — уже более не участник поиска сто четвертого элемента, — присутствуя на обсуждениях, непрошено взял на себя роль „адвоката дьявола”. В результатах, которые по мнению участников работы и, естественно, Флерова, указывали на сто четвертый элемент; я искал следы других, побочных явлений и, не стесняясь, высказывал свои сомнения. При этом я замечал, что мои высказывания все более раздражают Флерова.

В середине шестидесятых годов Флеров с сотрудниками пришел к выводу, что накопленный материал убедительно свидетельствует об открытии сто четвертого элемента. Была написана статья в научный журнал, газеты и радио сообщили об успехе, об открытии нового химического элемента, названного в честь покойного академика Курчатова курчатовием. Во мне жила память об этом выдающемся человеке, и мне казалось естественным, что советские ученые дают название элементу, связанное с его именем. Но это не избавляло меня от сомнений в надежности результатов. Поэтому, когда Флеров заявил, что теперь группа займется синтезом сто пятого элемента, я посоветовал продолжать дальнейшие исследования сто четвертого элемента. Через день мой сосед по комнате сказал, что в мое отсутствие Флеров заявил, что „Поликанов хочет затормозить наши работы по сто пятому элементу”.

Тем временем вместе с двумя своими сотрудниками я подготовил новую аппаратуру, воспроизводя методику, разработанную одним американским физиком. Аппаратура работала хорошо, и за корот-

кое время мы получили некоторые новые данные о свойствах сто второго элемента — нобелия. Уехав после этого на месяц в отпуск, я обнаружил по возвращении, что для группы моего бывшего приятеля изготавливается, причем весьма ускоренным темпом, аналогичная нашей аппаратура. Это был ясный намек, что для меня нет более места в работах по изучению трансурановых элементов.

Что же, причин огорчаться у меня не было. „Таинственный незнакомец“, появившийся несколько лет тому назад во время наших первых опытов, не был еще до конца разгадан. Он принес мне много радости, и я продолжу его изучение. Но видно было также, что на нашем циклотроне изучать я его не смогу. И тут мне в голову пришла мысль, что неплохо было бы построить в Дубне новый циклотрон с очень высоким качеством пучка. И это будет интересно не только для меня, а для многих. Не будучи специалистом по циклотронам, я зашел в соседнюю лабораторию посоветоваться. К моей радости физики из лаборатории Джелепова с энтузиазмом отнеслись к моему предложению.

Я видел, что Флеров едва терпит меня, но начать против меня открытую атаку не решается. Рано. Флеров понимал, что для большей части дубненских ученых мой интерес к изучению нового физического явления оправдан. И я чувствовал одобрение моей деятельности со стороны многих уважаемых ученых. Так однажды после заседания Ученого Совета, где Флеров показывал красочные плакаты, сравнивающие путь к новым элементам с кораблями, плывущими через море, ко мне подошел академик, руководивший самой крупной дубненской лабораторией.

— Вы правильно делаете, что не занимаетесь этим,

— академик кивнул на плакат, — изучайте ваше явление, это интересней.

Уговаривать меня не надо было, я и сам делал всё от меня зависящее, пытаясь докопаться до истины.

В 1966 году накопленного материала было уже достаточно, чтобы защитить докторскую диссертацию. На банкет после защиты Флеров не пришел, сославшись на какой-то пустяковый повод. Трещина в наших отношениях расширялась.

Как-то в начале 1967 года Флеров пригласил к себе в кабинет руководителей групп. Пришел и я. Работу по сто четвертому элементу пора выдвигать на Ленинскую премию. Никто из присутствовавших не возражал против этого. На следующей неделе состоялось заседание ученого совета лаборатории, на которое пришли также ученые из других лабораторий. По предложению Флерова в список кандидатов включили только участников работы над сто четвертым элементом. И тут кто-то из гостей заявил, что открытие нового физического явления, сделанное несколько лет назад, также может претендовать на самую высокую награду. Другие гости поддержали это предложение, и я тоже оказался в списке. После тайного голосования в нем осталось четверо и в том числе я.

В апреле в Праге состоялось научное совещание, на котором присутствовали Флеров и я. В воскресенье наши знакомые чехи повезли нас в горы. Мы сидели в маленьком ресторанчике, пили пиво, и вдруг один из чехов спросил нас, знаем ли мы, что нам присудили Ленинскую премию. Вечером в отель начали приходить из Москвы поздравительные телеграммы.

Ленинская премия прибавила мне уверенности. Я — доктор физико-математических наук, профессор. Кроме Ленинской премии у меня есть орден Ленина. Теперь я не пропаду. Но, как ни странно, все больше людей в лаборатории начинало смотреть на меня, как человека в лаборатории временного. Мои научные интересы начинали все более сдвигаться от главной ее цели — делать открытия, синтезировать новые элементы. Видимо, кое-кто уже прикидывал, когда произойдет столкновение, и по извечному правилу спешил заранее занять сторону сильного. Меня еще не сторонились, но уже проскакивал легкий холодок отчуждения. Со своей стороны я начал сближаться с физиками вне нашей лаборатории. Это не была дружба. Просто у меня появились союзники, и нас объединяла идея построить в Дубне новый хороший циклотрон.

Не искушенный в „тайной дипломатии“, я пошел напрямик. У меня были хорошие отношения с академиком Франком, и я зашел к нему посоветоваться. Выслушав мои соображения по поводу нового циклотрона, Франк сказал, что лучше всего будет, если я изложу свои мысли в письме секретарю отделения ядерной физики Академии наук академику Маркову. Я так и сделал. Вскоре Марков пригласил меня в Москву. Одобрительно отнесясь к моему предложению, он посоветовал искать в Дубне союзников и прежде всего в лаборатории члена-корреспондента Академии наук Желепова. У него в отделе есть специалисты, которые могут заняться проектированием циклотрона. Марков имел в виду тех физиков, в которых я нашел энтузиастов нового циклотрона. В разговоре со мной Желепов дипломатично уклонился от прямого „да“ или „нет“. Но я видел, что он не будет возражать, если я „продолжу флирт“ с его людьми. Флеров, узнав о моей дея-

тельности, страшно обозлился. Ведь у него есть свои планы, и моя деятельность ему мешает. Мой „моноэнергетический циклотрон” становится конкурентом, и он сделает все, чтобы его „убить”.

Мое письмо в Академию наук неожиданно оказалось неким импульсом для московской группы академика Франка. Вскоре родилось новое предложение: построить циклотрон в Москве. Однажды при встрече со мной Франк сказал, что он настроен оптимистически по поводу строительства нового циклотрона.

— Но, — помолчав, добавил он, — вряд ли он будет в Дубне.

Иностранцам идея создания в Дубне нового циклотрона понравилась. В нем многие видели установку, на которой немецкие, польские, чехословацкие ученые смогут работать эффективно, занимаясь интересными задачами, и более чувствовать себя хозяевами, чем в существующих лабораториях.

Постепенно обсуждение плана строительства нового циклотрона стало захватывать все больше людей. И оппозиция стала более активной. При этом Флеров занимал наиболее агрессивную позицию. Кульминационного пункта дискуссия достигла в Дрездене на заседании одного из комитетов. По традиции работа комитетов завершалась банкетами. Так было и на этот раз. Начали его с тостов за новый циклотрон. За ним последовали новые, более двусмысленные. Флеров довольно откровенно намекнул, что проект этот надо похоронить.

Как многие, будучи членом коммунистической партии, я был обязан заниматься и партийной работой. Для меня, как я уже говорил, это была работа в партийном комитете. Каждую среду к шести часам вечера я должен был приходиться на очередное заседание. Как правило, они начинались с приема в пар-

тию. Я помню, как однажды один из принимаемых сказал, что его отец погиб в лагере.

— Непостижимо, — тихо проговорил сидевший рядом со мной бывший директор института Блохинцев.

Вступавший в партию работал инженером в нашей лаборатории. В ближайшее время он собирался перейти на профессиональную комсомольскую работу. Как Блохинцев, я тоже не мог понять характера мышления молодого человека, в будущем наверняка партийного работника. Как можно простить государству, партии смерть отца? Но где находятся преступники? Не Сталин же вместе с Берия всех убили? В Дубне хватало чекистов: работающих в КГБ, оставшихся, пристроившихся на хозяйственные и административные должности. Что о них можно сказать? При встречах улыбаются, ведут себя вежливо, спрашивают о здоровье. Кто же убивал? Может быть, в Дубне таких нет? Первым „прорезался” начальник издательского отдела. Невысокий, с толстым бугристым сизым носом, он мог показаться человеком интеллигентным, хотя и противным. Трудно было поверить, что была женщина, способная его любить. Как я понял потом, интеллигентным начальник издательского отдела выглядел из-за своей чрезвычайно сильной близорукости. К нему надо было идти, когда статья отправлялась в печать. Обычно начальник издательского отдела смотрел, нет ли в списке литературы ссылок на „частные сообщения”, и подносил рукопись к самому носу.

Однажды наша знакомая пожаловалась жене, что вчера во время банкета ее чуть не стошнило. Рядом с ней сидел начальник издательского отдела. Разомлев от вина и близости привлекательной женщины, он решил перед ней покрасоваться. Но чем он, гнусного вида человечешко, мог поразить соседку? На-

чальник издательского отдела стал рассказывать ей, как он расстреливал людей из пистолета!

В начале июля 1968 года к нам домой зашел наш друг, чехословацкий физик. Он уезжал домой после того, как кончился его срок работы заместителем академика Франка. Одно время наши семьи дружили, потом у нашего друга случилась беда. Развод с женой. Теперь он пришел к нам попрощаться. В Праге его назначили директором института.

— Ты, Сергей, не сомневайся. Чехословакия останется социалистической, — убеждал меня наш друг.

Мы сидели, пили коньяк, говорили о будущем. Чех спрашивал меня, не смогу ли я приехать на несколько месяцев к нему в институт поработать. Наш друг верил, что все будет хорошо. Но пришел август, и рухнуло все, на что надеялся наш друг, чехословацкий коммунист. Настали трудные времена, и не все сумели устоять и остаться честными. Он устоял, но его исключили из партии, сняли с должности директора института, а потом вообще выгнали с работы. Говорили, что наш друг чуть было не погиб. В конце концов приняли его работать на завод инженером. О занятиях физикой и речи быть не могло.

Франк, у которого работал наш друг, пользовался большим влиянием. Нобелевский лауреат, академик. Похоже, он сильно уважал своего бывшего заместителя и следил за его судьбой. Через несколько лет после того, как нашего друга отстранили от занятий ядерной физикой и о нем в Дубне забыли, я однажды встретил его около административного корпуса. Оказывается, Франк сумел каким-то неизвестным путем пригласить его на неделю в Дубну. Наш друг навестил нас, и мы снова пили коньяк, говорили о каких-то пустяках. По дороге в гости-

ницу я спросил, как живется людям в Чехословакии, примирились ли они со случившимся.

— Знаешь, Сергей, я мало чем теперь интересуюсь. Просто живу.

Человек был сломлен, но до конца остался честным.

Как я уже говорил, вскоре после обнаружения во время первых опытов непонятого явления, работы по его изучению были также начаты в Бухаресте. Работа шла успешно, но видно было, что долго сотрудничество не просуществует. Программа опытов иссякала. Для дальнейших опытов требовался ускоритель лучшего качества. И тут, к счастью, в Копенгагене в институте Нильса Бора появился интерес к сотрудничеству с нами. Я получил приглашение из Копенгагена, и Флеров с жаром начал меня уговаривать поехать туда. Я понимал, что ему хочется отправить меня куда-нибудь подальше от Дубны. Проект нового циклотрона был уже разработан, и теперь за него надо было бороться. Но как и где? Я не чувствовал себя членом какого-то клана, группировки и не был подготовлен к интригам в Москве. Если страны-участницы заинтересованы, то пусть отстаивают проект, и здесь я буду вместе с ними. Но мне самому начинать конкурировать с академиками, входящими в Центральный Комитет партии, в министерства? Зачем мне это? Лучше уехать с семьей на год в Копенгаген. За это время все утрясется, прояснится.

В октябре мы были уже в Копенгагене.

Через несколько месяцев меня известили, что в мае в Дубне состоится Ученый Совет института. Я должен сделать там доклад о программе физических исследований на новом циклотроне. Когда пришло время, я собрался поехать на неделю в Дубну. Дня

за два до отъезда меня встретил один из советских физиков, работавших в институте Нильса Бора.

— Что случилось? В посольство из Москвы пришла телеграмма. Там говорится, что твой приезд в Советский Союз нежелателен! В посольстве не понимают, в чем дело.

Я буквально обалдел от изумления. Что все это означает? На другой день я позвонил в Дубну в международный отдел. Оттуда мне сообщили, что вечером я должен ждать телефонного звонка из Дубны.

— Приезжайте, — сказали мне вечером.

В Дубне все прояснилось. Комитет по Атомной Энергии был категорически против строительства в Дубне нового циклотрона. Поэтому и пришла в Копенгаген странная телеграмма. Мой доклад просто хотели сорвать. В Дубне все же сочли неприличным столь откровенно показать, по выражению одного монгольского физика, „кто табун погоняет”. Способ „утопить” дубненский проект был найден. В Ленинграде срочно разработали „соображения” по поводу модернизации московского старого циклотрона в ЛИПАНе, Институте Атомной Энергии. На этом циклотроне ученые из социалистических стран смогут работать, так что новый циклотрон в Дубне не нужен. Дешево и хорошо. Вечером после своего доклада я зашел поужинать в ресторан и там встретил автора ленинградских „соображений”. Тот мне откровенно сказал, что он всего лишь один день работал над ними и что все это — настоящая „липа”, нужная, чтобы утопить дубненский проект.

На Ученом Совете никакого решения не было принято, но я понимал, что бороться против Комитета по Атомной Энергии мне не по силам. Директор института в Дрездене предложил мне встретиться и поговорить о новом циклотроне. Иностранцы

ученые хотят иметь в Дубне такой циклотрон, и даже больше: они хотят организовать новую лабораторию. Готов ли я работать вместе с ними, если удастся отстоять проект нового циклотрона. Конечно, готов, но без поддержки Комитета по Атомной Энергии дело не пойдет.

Флеров излучал радость при моем появлении. Словно почетного зарубежного гостя, он водил меня по лаборатории и рассказывал о последних достижениях. Можно было подумать, что он решил восстановить добрые отношения. Наша встреча закончилась тем, что он предложил мне еще задержаться в Копенгагене на несколько месяцев. Я не возражал. Вскоре мне сообщили, что срок моей работы продлен еще на полгода. Месяца через три Флеров позвонил в Копенгаген, спросил, как обстоят мои дела, и, заканчивая разговор, со злорадством добавил, что нового циклотрона не будет ни в Дубне, ни в Москве.

6. ПОЕДИНОК

— Мы еще встретимся, — уверенно произнесла Ева.

Раймунд промолчал, видимо, сомневаясь в этом. Ева и Раймунд, наши польские друзья, эмигрировали из Польши в 1968 году и теперь провожали нас в Москву. До отъезда из Копенгагена оставалось несколько минут, и пора было уже заходить в вагон. Полтора года безмятежной жизни в Дании безвозвратно ушли в прошлое, и вот теперь весной 1970 года мы возвращались всей семьей в Советский Союз. Приедем ли мы когда-нибудь сюда еще? Вряд ли. Парк „Тиволи” был закрыт, и за два дня до отъезда наша десятилетняя Катя плакала от огорчения:

— Ведь я никогда больше не попаду сюда.

Скорее всего так оно и будет. Мы возвращались домой, но радости не было. Что ждет нас в Дубне? Кто ждет меня? Никто. Для лаборатории, которой я отдал свою молодость, я стал чужой. Теперь ее директор стал академиком. Его кабинет с зелеными диванами и креслами вдоль стен похож на музей. В центре комнаты стоит стол, заваленный кораллами, минералами и какими-то безделушками. На одной из стен висит фотография больного академика Ландау, слева от стола академика Флерова — дверь в комнату с самоваром. Директор готовится к бессмертию.

Кабинет директора не только музей, но и приемная „императора”. Здесь он „казнит” своих подданных, здесь же осыпает милостями. Иногда даже гнев

его приятен, потому что его приветливая улыбка через час от этого становится более теплой.

В лаборатории все знают, что дни мои сочтены. После деятельности с „моноэнергетическим” циклотроном Флеров не потерпит моего присутствия в лаборатории. И наверняка не забыл он мои замечания по поводу сто четвертого элемента, курчатовия. Он помнит мои слова, что за достоверность данных, к сожалению, поручиться нельзя. И Флеров будет выживать, выкуривать меня из лаборатории. Как, я еще не знаю, но одно мне ясно. Если дело дойдет до схватки, окружающие перепугаются и предадут меня. История одного маленького, но все же предательства прочно засела в моей голове.

Приближался ноябрь 1945 года. В ту пору студент Московского Авиационного института, я собирался вместе со своей студенческой группой принять участие в вечеринке. Повеселимся, потанцуем. Дня за два до праздников меня вдруг вызвали в деканат и показали список с моей фамилией в нем. Оказывается, в ночь с седьмого на восьмое, как раз тогда, когда мы собирались устроить пирушку, я должен был по указанию всесильной кафедры военного дела дежурить в проходной института, „охранять” его.

— Не ходи, ничего тебе не будет, — уговаривали меня всей группой.

Я не долго сопротивлялся и, поставив в известность секретаря деканата, не пошел на дежурство. Через неделю после праздников было назначено комсомольское собрание. На него пришел полковник, заведующий военной кафедрой. Полковник потребовал наказать меня за нарушение приказа о дежурстве. Не нашлось ни одного, кто осмелился бы сказать хоть слово в мою защиту. А ведь все были

такие хорошие ребята, такие дружные. Единогласно мне вклеили выговор. Даже воздержавшихся не нашлось. Как обычно, из института мы возвращались домой группой. Все смеялись, шутили. Мне было наплевать на комсомольский выговор, но было немного грустно. Девушки толкали меня, пытались развеселить, но чувство горечи, к моему удивлению несколько приятной, не исчезало. Все-таки они хорошие ребята. Если я буду тонуть или гореть, они бросятся без колебаний меня выручать. В этом я не сомневаюсь. Комсомольское собрание — это дело другое.

Что еще ожидало меня в Дубне, кроме прохладной атмосферы в лаборатории? Потеря того, к чему я начал привыкать — свободного общения с западными учеными. Вновь выросал барьер, и я опять становился зависимым от прихоти чиновников Комитета по Атомной Энергии, партийных деятелей и кагебешников. Теперь кратковременные поездки не будут, как раньше, вызывать даже малейшей радости. Они будут лишь напоминать, что мои близкие, жена и дочь, не свободны. Они никогда не смогут присоединиться ко мне, потому что отныне будут всего лишь заложниками, гарантией того, что я вернусь. Думая так, я не беспокоился о тысячах смирившихся с жизнью с поводком, привязанным к шее. Меня совсем не „распирало” от жалости к тем, кто принимает как нечто непреодолимое самоуправство чиновников, решающих, кто „выездной”, а кто нет.

А что найдут дома мои близкие? Конечно, для них, как и для меня, радость встречи с родственниками несколько отодвигала в сторону всякие заботы. Но все-таки, что их ждет? Жене снова надо будет что-то „доставать”, налаживать хорошие отношения

с продавщицами в магазинах. Дочь начнет ходить в дубненскую школу, где из нее будут делать „нового человека“, „прививать“ коммунистические идеалы, в которые давно уже никто не верит, приучать исподволь к сделкам с совестью, к компромиссам. Через несколько лет она будет такой же, как все, научится, когда надо, промолчать, приспособится к окружающей среде, и останутся у нее лишь смутные детские воспоминания о том, что она была за границей, в Дании. А мысль о том, что во время отпуска можно поехать в Грецию или Италию, будет просто казаться бредовой.

Дубна поразила нас необычайной тишиной. После постоянного морского ветра в Копенгагене дубненский воздух казался неподвижным. Снег еще не начал таять, но мартовское солнце светило уже по-весеннему. Первый шок от возвращения на родную землю прошел. Это случилось в Бресте, куда поезд пришел поздно ночью. Тормоза поскрипывали, поезд медленно замедлял ход, и снаружи уже слышались голоса пограничников. Через вагон прошли солдаты, заглянули под сиденья, на верхние полки и ушли. Таможенники, узнав, что мы возвращаемся из длительной командировки, не стали рыться в наших вещах. И тогда я побежал на вокзал. Унылый пустой зал без рекламы, без киосков, торгующих чем-либо. Пусто и ничего яркого. На стене на красном полотне висит лозунг, куда-то призывающий, что-то обещающий. Сразу же родилось ощущение скуки и серости.

По пути в Брест поезд сделал остановку в Варшаве. Двое знакомых поляков пришли поговорить с нами. Мы гуляли по платформе и говорили больше о Дубне, чем о Копенгагене.

— А хорошо все-таки, что вы вернулись, — с улыбкой сказал один из поляков.

Так ли это?

Несколько дней ушло, чтобы обжиться в Дубне. Знакомые останавливали нас, спрашивали, как мы себя чувствуем, поглядывали на нас с любопытством. С каждым таким разговором полюбившаяся нам Дания все более отодвигалась от нас. Я вспомнил свой кратковременный приезд на Ученый Совет института. В перерыве между заседаниями ко мне тогда подошел бывший директор института Блохинцев и пошутил:

— Удивительное дело, смотришь на человека, вернувшегося из командировки с Запада, и выглядит он словно отмытым от чего-то.

На другой же день после нашего возвращения в Дубну от „отмытости” почти ничего не осталось. Каникулы кончились, начинались дубненские будни. Пока что единственным приятным сюрпризом должно было быть получение гонорара за книгу „Тяжелее урана”, написанную вместе с членом-корреспондентом Академии наук Гольданским.

Первое утро началось с раннего телефонного звонка, разбудившего нас. Звонил Флеров. Не поприветвавшись, он сразу постарался взять „быка за рога”.

— Почему Александра Ивановна не пришла сегодня на работу?

Александра Ивановна — это Шура, моя жена, работавшая до отъезда в Данию лаборантом в группе, где с помощью микроскопов женщины просматривали облученные фотозмульсии.

— Вы же знаете, Георгий Николаевич, что мы только вчера вечером вернулись из Копенгагена. Мы

устали, а потом в порядок кое-что надо привести. Все-таки полтора года нас дома не было.

— У нас во всю идет работа над сто пятым элементом. Передайте Александре Ивановне, чтобы она срочно явилась на работу. Надо просматривать облученные детекторы.

О результатах моей работы в институте Нильса Бора Флеров не спрашивал. Его это не интересовало. Итак, директор лаборатории спешит посигналить, что в лаборатории я человек лишний, и уже ищет слабое место, куда меня можно покрепче ударить.

— Слушай, — посоветовал я Шуре, — возьми за свой счет отпуск. А, может быть, тебе вообще лучше уйти с работы. Он теперь тебе житья не даст. По субботам и воскресеньям работать заставит. Дочь воспитывай.

В лаборатории все выглядело так, как я ожидал. Внизу, в холле висит доска почета. Рядом — фотографии ветеранов войны. В стенной газете статья о неполадках в вакуумной группе. Значит, ее начальник по-прежнему ходит в „козлах отпущения”. До моего отъезда не было черной доски со сверкающим словом „Молния”, сложенным из стальных полосок. Там опять „клеят” вакуумную группу. Все знают, что начальник вакуумной группы всегда виноват. К счастью, он не обделен юмором и добродушно шутит при встрече со мной:

— Ну что возьмешь с нашего параноика?

Весь коридор увешан картинками с Лениным. „Ленин в Горках”, „Ленин на охоте” и уж, конечно, красуется Ленин — белокурый херувимчик с мудрыми глазами. Приближается столетие со дня его рождения.

Мой сосед по комнате, как всегда, дымит сигаретой и скулит. Его, лауреата Ленинской премии, обижают, дают слишком мало времени для опытов на

циклотроне. Похоже, за мое отсутствие он перестал ходить в любимчиках Флерова, и жалуется, что Флеров не дает ему спать, звонит рано утром, спрашивает, как дела с обработкой данных. Подумать только, с этим слюнтяем я когда-то плавал на байдарке по рекам и озерам. Как все меняется. И сейчас он жалуется на телефонные звонки Флерова только для порядка. В душе он доволен, все-таки начальство не забыло его совсем. От этого на душе теплее становится.

Позвонила секретарь директора и сказала, что Георгий Николаевич меня ждет. Я захожу в кабинет Флерова, и снова никаких вопросов о моей работе в Копенгагене. Зато тотчас же раздается телефонный звонок. Из Киева. У телефона мой знакомый со времен давнишней поездки в Англию украинский академик Пасечник. Теперь Пасечник — директор нового института в Киеве, где строится циклотрон.

— Да, да, Митрофан Васильевич, — Флеров косится на меня, — он здесь. Покрыт еще капиталистическим пушком. Сейчас я передам ему трубку.

Я беру трубку и здороваюсь с Пасечником.

— Сергей Михайлович, вы не хотели бы на несколько деньков приехать к нам в Киев, познакомиться с нашими планами.

— В начале мая смогу.

Случайный звонок не случаен. Еще перед отъездом в Копенгаген я побывал в „летней школе“, организованной академиком Пасечником. Там как-то зашел разговор о том, не перейти ли мне в новый институт. Я обещал подумать. Флеров, конечно, знал от Пасечника об этом и теперь организовал „случайный“ звонок Пасечника.

Вскоре разговор о моем возможном переходе в Киев состоялся и с директором нашего института академиком Боголюбовым. У меня не было основа-

ний подозревать Боголюбова в намерении избавиться от меня. Я знал, что Боголюбов любит Киев и „сватает” меня туда из самых лучших побуждений.

— Я слышал, что вы думаете о переходе в Киев. Что же, город хороший, да и денег на коньяк у вас там всегда хватать будет. Когда будете в Киеве, позвоните президенту Украинской Академии наук Борису Евгеньевичу Патону. Мы с ним о вас недавно говорили.

Поездка в Киев не рассеяла моих сомнений. С одной стороны, в новом институте я обрету полную независимость и смогу постепенно собрать вокруг себя группу молодых физиков. С ними я буду заниматься теми делами, которые мне интересны. Мое материальное положение улучшится, на что откровенно намекал Боголюбов, пользовавшийся в Киеве огромным влиянием. Пасечник во время нашего разговора заверил меня, что я буду избран в Украинскую Академию наук. Состоялась встреча и с президентом Академии наук Патоном. Патон не оставил сомнений, что в Киеве я — желанный гость. В разговоре со мной он пошел даже несколько дальше, чем я ожидал.

— Конечно, Пасечник делает сейчас полезную работу. Он лучше, чем другие, потянет дела, связанные со строительством. Но, когда дойдет дело до научной программы, надо будет подумать о другом человеке.

Патон не называл имени будущего директора, но его откровенность указывала на расположение ко мне. Переговоры в Киеве развивались стремительно и дошли наконец до вопроса о квартире. Мне предложили посмотреть одну из них. Я срочно вызвал в Киев Шуру, и мы пошли в строящийся дом. Квартира нам не понравилась, а другой в то время не было.

Моей жене Киев казался более привлекательным, чем Дубна, по весьма бесхитростным соображениям. Климат здесь суше, и со снабжением мясом, овощами, фруктами — куда лучше, чем в Дубне. Но ей не нравилось, что мы будем жить на шумном перекрестке в самом центре города. От квартиры мы отказались, и тут я внезапно почувствовал облегчение.

Все было просто. Мне не хотелось переезжать в Киев, но признаться себе в этом было нелегко. Квартира оказалась неподходящей, и это был повод сказать себе, что спешить не надо. Переезд в Киев — дело необратимое. Если я туда уеду, то до конца жизни. Исчезнут Москва и Дубна, исчезнут насовсем. Киев не был моим городом и никогда им не станет. Я не любил его главную улицу Крещатик. Он вызывал у меня ощущение полной безвкусицы. Здесь не только дома себя напоказ выпячивают, но и местные красавицы в импортных нарядах чересчур вызывающе выглядят, иногда просто вульгарно. Через несколько лет моя дочь закончит школу. К тому времени ей, наверное, придется выучить украинский язык. Впрочем, возможно, обойдется и без этого. Я не представляю себе, как можно правильно говорить на украинском, белорусском или другом славянском языке. После русского они кажутся мне некрасивыми. Мне всегда будет казаться, что я говорю на ломаном русском. Наверное, так же чувствуют себя украинцы, говорящие по-русски, но мне от этого не легче.

Я — москвич, и что-то удерживает меня возле моего родного города, хотя я не переносу суету на его улицах и в метро. Жалко расставаться и с Дубной. И еще, наверное, жило во мне предчувствие, что в моей жизни не случилось главного события. Если ему суждено случиться, то оно произойдет где-то неда-

леко от Москвы. Киев — тихая заводь. В будущем там не произойдет ничего для меня интересного. Но уезжая из Киева, я не сказал Пасечнику „нет”, и для себя путь в Киев не отрезал.

Приближалось лето, и вместе с ним конференция в Новосибирске. Я писал доклад и потихоньку знакомился с событиями, происшедшими в Дубне за время нашего отсутствия. С времени нашего приезда из Дании прошло совсем немного времени, и мои личные дела как-то все сразу отодвинули в сторону. Наиболее интересным событием, о котором, однако, предпочитали не говорить слишком громко, была „пикантная” история с шефом гебешников. Для проведения своих „операций” гебешники имели явочную квартиру. Что там происходило, никто не знал и не интересовался, и вообще о ней, возможно, мало кто знал. Сам факт ее существования должен был быть секретом. Однажды вечером на квартире шефа зазвонил телефон. Подошедшая к телефону жена услышала голос пьяного мужа:

- Я сейчас приду домой.
- А где ты находишься?
- С проститутками.

Такого супруга мужчины интеллигентного вида в очках в толстой роговой оправе не ожидала. Увидев через минут десять своего мужа, выволакиваемого из автомашины двумя дамами, она с криком набросилась на них. Этим дело не кончилось. Супруга шефа дубненских гебешников докопалась до правды и устроила крупный скандал. Выяснилось, что „секретная” квартира использовалась для развлечений. Одним из наиболее популярных были танцы под „разлагающую” западную музыку нагишом. Прострафившегося супруга пожурили и перевели работать в крупный институт на юге Московской облас-

ти. С женой он развелся и увез с собой партнершу по танцам.

Услышав эту историю, я вспомнил свою кратковременную командировку из Копенгагена в Дубну. Встретившийся мне на улице заместитель проштрафившегося шефа гебешников, занявший вскоре освободившееся место, попросил меня зайти к нему.

— Нам нужна для работы пара порнографических журналов, привезите, пожалуйста, из Копенгагена.

Увидев, что просьба эта вызвала мое удивление, он пояснил, что мол чехи завозят такие штуки в Дубну. Я не мог понять, какое отношение порнографические журналы из Копенгагена имеют к чехословацким физикам. Согласившись подумать о просьбе, я ушел и сразу же постарался позабыть про нее. Да, дубненские гебешники тоже люди, и им не чуждо земное. Но больно уж они от коньяка и обильного питания грузноваты и рок-н-ролл им не одолеть. Твист им, однако, пожалуй, по силам.

Лето уже кончалось, когда грянул гром. Вернувшийся с Камчатки из отпуска загорелый, отдохнувший Флеров начал первый рабочий день с разноса, устроенного начальникам технических служб. Обо всем этом я узнал из разговоров в коридорах. Итак директор в дурном настроении и причина этого ясна — работа по синтезу сто пятого элемента идет медленно.

— Зайдите, пожалуйста, к Георгию Николаевичу, — позвонила мне секретарь Флерова.

Кроме Флерова в его кабинете был его новый заместитель, являвшийся в то же время секретарем партийного комитета института.

— Вы давно вместе с Гольданским, членом-корреспондентом Академии наук, плагиатом занимаетесь? — ядовито процедил Флеров.

Его слова словно обожгли меня, но я все же смог удержать себя от такой вспышки бешенства, которую потом можно вспоминать лишь со стыдом. Перед Флеровым на столе лежала только что поступившая в продажу книга, написанная Гольданским и мной.

— А в чем дело? — не скрывая грубости, спросил я.

Флеров прищурился.

— Вы в вашей книге пишете, что при столкновении атомных ядер урана, может быть, произойдет синтез новых трансурановых элементов, и не ссылаетесь, что это моя идея.

— Оставьте. Вы прекрасно знаете, что в разных местах физики постараются ускорить уран и посмотрят после этого, не спрашивая вашего разрешения, что произойдет при столкновении двух атомных ядер урана. Вы это называете идеей? А ссылок на вас в книге больше, чем надо. В том числе и на ваше поспешное, ошибочное заявление в Токио о синтезе сто пятого элемента.

Да, теперь казалось, что и не было того времени, когда мы гадали, каким должен быть атомный реактор для накопления ядерного горючего, и когда, во время опытов на Урале, чуть было не взорвались. Не было, казалось, и борьбы за циклотрон. Сначала в отношении наши пришли разочарование и холодность, потом скрытая вражда. Но все же до такой сцены, как сейчас в кабинете, дело не доходило. Теперь, с ненавистью глядя на меня, Флеров искал слова, которые посильнее ужалили бы меня.

— Нам не о чем больше говорить, — произнес я наконец.

Флеров, встав из кресла и следуя за мной до двери, кричал что-то. Через час на доске объявлений висело распоряжение, где говорилось, что „в свя-

зи с важностью работ по синтезу трансурановых элементов директор лаборатории берет на себя обязанности начальника экспериментального отдела”, то есть мои обязанности. Внизу красовалась подпись — Флеров.

Это распоряжение не имело юридической силы, так как снять меня с должности можно было только приказом директора института. Флеров прекрасно знал это, и его „распоряжение” было обращено к сотрудникам лаборатории с явным предупреждением воздержаться иметь дело со мной. И все это правильно поняли. Через час о начале „войны” знала вся лаборатория, а на другой день Дубна. При встрече со мной кое-кто, прежде чем заговорить, смущенно оглядывался: нет ли рядом Флерова? Тот все запоминает. Другие, увидев меня, на всякий случай сворачивали в сторону. Как поведут себя начальники секторов, мои друзья, с которыми я не только вместе работал, но когда-то отпуск в путешествиях проводил? Каждый „понимал” меня, но сводил разговор к одному и тому же.

— Ты против Флерова не устоишь, уйдешь, а нам с ним дальше жить.

Если греческие боги, как заметил Гейне, сторону победителей принимали, то чего же ждать мне от моих друзей? Впрочем, помощи я и не ждал ни от кого. Буду, сколько можно, держаться и биться в одиночку.

Прошло несколько дней. Однажды по дороге домой я встретил одного из сотрудников академика Франка, к которому тот относился весьма благожелательно. И он мне тотчас же передал слова Франка.

— Илья Михайлович просил вас сказать, что ваш переход в нашу лабораторию сейчас невозможен.

Конечно, сейчас приглашение перейти в лабораторию Франка было бы очень кстати, но его не бы-

ло, и мне ничего другого не оставалось, как спросить с сарказмом:

— А разве я к вам просился?

Сверхосторожный Нобелевский лауреат не хотел портить отношения с академиком Флеровым. Что же касается моего перехода в лабораторию Франка, дело обстояло крайне просто. После моего возвращения из Дании я однажды по просьбе Франка рассказал в его лаборатории о своей работе. После семинара мы зашли к Франку в кабинет выпить чаю.

— У вас любви с Флеровым больше не будет. Подумайте о переходе к нам. У нас есть хорошие люди.

Случившееся, естественно, не изменило уклада жизни нашей лаборатории, но на все окружающее я смотрел, уже не чувствуя себя дома, а как бы со стороны. По-прежнему в кабинете Флерова проходили совещания, и время от времени в соседней комнатухе свистел самовар, извещая, что вода закипела. На совещания эти я более не ходил. Меня на них не приглашали, да я и сам не пошел бы. Как обычно, Флеров гулял с кем-нибудь часто по коридору, но при встрече со мной меня не видел. Впрочем, я быстро привык к тому, что мы не здороваемся.

Итак, в своей лаборатории рассчитывать на чью-либо поддержку не приходится, и мирный уход в лабораторию Франка тоже исключается. Что же делать? Остается либо сдаться и „встать перед директором лаборатории на колени”, либо вынести конфликт из лаборатории наружу. Или все-таки плюнуть на все и уехать в Киев. Флеров ждет именно этого, и это было бы позорным поражением. Остается вынести конфликт за стены лаборатории. Но как? Идти к директору института Боголюбову бесполезно. Все знают, что Боголюбов не любит Флерова, но я уверен, что из-за меня ссориться с ним не будет.

„Поезжайте-ка вы лучше в Киев”, таким будет ответ Боголюбова.

Есть один выход — написать заявление в партийный комитет с просьбой создать комиссию из людей, от Флерова не зависящих. Моя работа полностью заблокирована незаконным распоряжением. Если моя квалификация низка, пусть комиссия рекомендует освободить меня от занимаемой должности. Пойду по этому пути. Через пару дней после того, как я отправил свое заявление в партийный комитет, меня затащил к себе в комнату один из химиков нашей лаборатории, секретарь партийного бюро лаборатории. Открыв сейф, он вынул из него какую-то бумагу:

— Читай!

Передо мной лежало заявление Флерова в партийное бюро нашей лаборатории. В нем говорилось, что своей деятельностью я наношу серьезный ущерб советской науке. Я пытаюсь затормозить работу по синтезу новых химических элементов и тем самым „лью воду на мельницу американцев”. Далее следовало не менее тяжкое обвинение. Оказывается, я „нанес серьезный ущерб развитию международного сотрудничества нашего института с социалистическими странами”. И уже совсем бледно выглядело заявление о плагиате, допущенном мной совместно с членом-корреспондентом Гольданским. Флеров кончал заявление предложением исключить меня из коммунистической партии.

— Что дальше? — спросил я, прочитав заявление Флерова.

— Ничего, пусть полежит в сейфе. Паны дерутся, а у хлопцев чубы летят.

— Брось, у тебя еще с головы ни один волосок не упал. Что это — подрыв международного сотрудничества?

— Спроси у Толи.

Толя, молодой физик из нашей лаборатории, участвовал в опытах, проводившихся в Бухаресте, и теперь, когда я услышал его имя, мне все стало ясно.

Однажды, еще во время моей работы в Копенгагене, ко мне подошел мой друг, датский физик, и дал почитать статью, только что полученную редакцией журнала „Нуклеар Физикс”. В статье описывались наши последние опыты в Бухаресте. Естественно, я обнаружил себя в списке авторов, но статью видел впервые. Руководитель румынской группы, сотрудничавшей с нами, написал статью и послал ее в журнал. Наверное, он обсуждал ее с Флеровым и другими авторами, но мне в Копенгаген ее не послал. Я не мог согласиться с некоторыми частями статьи, поскольку в ней совершенно игнорировалась теоретическая работа, в которой было дано прекрасное объяснение нашего дубненского явления. Я тотчас же написал письмо своему румынскому коллеге, где в мягкой форме выражал свое несогласие с текстом, и добавил, что, если авторы хотят сохранить текст, то я просто прошу меня исключить из числа авторов. Со своей стороны, я предложил внести в статью изменения, учитывающие современное состояние теории. Ничего особенного во всем этом деле я не видел. В конце концов был опубликован вариант с моими поправками, и когда через некоторое время я встретил руководителя румынской работы, мы о чем-то поболтали, не вспомнив даже про нашу публикацию. И вот теперь, узнав, что я „разрушаю международное сотрудничество”, я решил поговорить об этом с моим сотрудником. Тот мялся, говорил что-то невнятное. Ему кажется, что руководитель румынской группы огорчен, что я не согласился с

объяснением, предложенным им. Тщетно пытался я объяснить, что улучшение отношений с румынскими учеными, кстати у нашей группы совсем неплохих, не должно идти за счет научного журнала „Нуклеар Физикс”. Толя считает, как и Флеров, что я не должен был настаивать на объяснении явления на основании последней теории, весьма одобрительно воспринятой учеными в большинстве лабораторий. Можно было бы и поступиться истиной, чтобы не огорчать румынского физика. И в конце концов я услышал от сотрудника своей группы, с которым мы вместе работали все годы, уже ставшее привычным:

— Вы уйдете из лаборатории, а мне здесь жить надо.

Как ни странно, но меня письмо Флерова даже обрадовало. Понять его замысел было нетрудно и можно было даже предположить, что при всей абсурдности обвинений он добьется нужного ему результата. Но, неплохой знаток человеческих душ и настоящий мастер интриги, он допустил ошибку лишь в одном. Он не заметил тех изменений, которые произошли за двадцать лет со времени нашего знакомства во мне. Флерову было невдомек, что меня пребывание в партии начало тяготить. Поэтому наша возможная дуэль на партийном собрании не могла кончиться моим поражением.

На что все-таки рассчитывал Флеров, требуя моего исключения из партии? Прежде всего на то, что так называемой партийной принципиальности не существует, и в этом он был прав. При всей возможной симпатии ко мне партийный комитет не решится поступить „по-партийному, по-ленински” и не осмелится поднять руку на увещанного наградами академика, имеющего в Москве могучих покровителей, и в том числе в Центральном Комитете

партии. Партийный комитет не будет спешить с обсуждением нашего конфликта. Тем временем Флеров подготовит партийное собрание лаборатории. Одних с глазу на глаз припугнет, другим что-то пообещает. Третьи сами, без его помощи, перепугаются. Конечно, Флеров не рассчитывает, что меня исключат из партии, да ему это и не надо. Важно, чтобы меня хоть в пустяке упрекнули. Я, например, недооцениваю того-то и того-то. Кто не без греха. Напишут „резиновую” резолюцию, и у всех совесть чиста будет. Для партийного комитета института такое решение собрания только и нужно. Коллектив лаборатории сделал в мой адрес „критическое замечание”. Исключить из партии? Нет, об этом даже и речи быть не может. Даже самого малейшего партийного взыскания не дадут. А Флерову, не исключено, укажут на некорректность поведения и превышение своих полномочий. Мне же посоветуют подумать о том, что в Киеве строится новый циклотрон, и им нужны опытные люди. Такой сценарий мог запланировать Флеров, но меня он не устроит.

Флеров не знает, что я не дорожу партийным билетом, и в этом моя сила. Если он прав в своих обвинениях, пусть меня исключают из партии. Если нет, пусть собрание исключает его из партии за клевету. В противном случае я сам положу свой партийный билет на стол. При таком обороте событий Флеров, хоть он далеко не трус, испугается. В этом я уверен. Его письмо — мое оружие.

То, что происходило, не было склокой. Это было столкновение, в котором не должно было быть компромисса. Мы стояли один на один. Если я попаду под поезд, Флеров будет рад. Если на него рухнет крыша дома, я не стану подписываться под некрологом. Память о прошлых теплых отношениях при-

давала нашему столкновению особенно мрачный оттенок.

Заметить мое нынешнее отношение к партии было бы трудно, хотя позднее я убедился, что кое-кто довольно пристально присматривался ко мне тогда и обнаружил во мне что-то новое. Для тех моих друзей, которые меня давно знали, не было секретом, что, подобно многим, я свое пребывание в партии воспринимаю, как ношение некоего хомута, надетого добровольно. Хомут надет, и снять его без серьезных потерь нельзя. Все, что остается, нести его на себе и не рыпаться, если не хочешь нажить бед. Я аккуратно платил партийные взносы, выполнял партийные поручения, но никто не мог заставить меня думать, что я и окружающие, живущие в мире, изуродованном безумными идеалистами и циничными пройдохами и подлецами, счастливы, которым повезло родиться в нужном месте в нужное время. В мире есть места попривлекательнее, но мы не выбираем себе родителей. Впрочем, наверняка есть места намного хуже, чем то, где живу я.

Полтора года, проведенные в Дании, оказались роковыми. Полтора года я жил без скучных партийных собраний, комиссий, заседаний партийного комитета и настолько отвык от своего хомута, что чувствовал отвращение при мысли, что вдруг мне снова придется один вечер в неделю тратить на обсуждение партийных дел. Платить партийные взносы и раз в месяц ходить на партийное собрание — этого с меня хватит. При таком настроении, когда я знал, что в конфликте с Флеровым мне ждать помощи неоткуда, и в том числе со стороны партийных органов Дубны, я внезапно ощутил, что непрочь сбросить „хомут“, даже если это обернется трудностями. Может быть, с них в моей жизни начнется

что-то новое, отсутствие чего я всегда смутно ощущал.

Поэтому, когда со мной захотела поговорить заместитель секретаря партийного комитета института, инженер из нашей лаборатории, я чувствовал себя уже „созревшим”. С Ириной, так звали инженера, мы были хорошо знакомы и до отъезда в Данию почти каждую неделю летом по субботам играли в волейбол.

— Сережа, мы так все огорчены твоей ссорой с Флеровым. Ведь вы так долго вместе работали, и очень жалко, что все так получилось.

— Я не собирался ссориться.

— Но ты неправ. Тебе не надо было обращаться с заявлением в партийный комитет.

— А что же, Ира, должно было произойти?

— Мы все заметили, что после поездки в Данию ты очень сильно изменился.

— Я всегда был таким, каким ты меня видишь. Может быть, вы во мне что-то не видели.

И тут я услышал слова, заставившие меня засмеяться.

— Когда ты приехал из Копенгагена, ты ни одному человеку не сказал, что соскучился по родине.

Все пошло, однако, не так, как ожидал я и, видимо, Флеров. Шли дни, недели, и... ничего не случилось. Флеров занимался своими делами, а я, лишенный возможности делать какие-либо эксперименты, проводил много времени в библиотеке. Однажды я встретил на улице физика из соседней лаборатории, который когда-то занимался проектом предложенного мной „моноэнергетического” циклотрона.

— А почему бы вам не перейти в нашу лабораторию? — обратился он ко мне, узнав, что все застыло

на месте. — Зайдите к нашему директору. По-моему, Желепов согласится на ваш переход к нам.

Странно, но мысль о переходе в лабораторию Желепова не пришла мне в голову раньше. Может быть, подсознательно я предполагал, что как академик Франк, он побоится портить, точнее ухудшать и без того отвратительные отношения с Флеровым. Может быть, переход к Желепову — это именно то, что мне нужно. Ведь я созрел для этого и не только потому, что не могу жить с Флеровым под одной крышей. Желепову, взяв меня, терять нечего. Флеров ненавидит его и не скрывает этого. С 1968 года Флеров — академик, а Желепову до конца жизни ходить в членах-корреспондентах. У Флерова сил больше, и с моим приходом Желепов кое-что выиграет. Сейчас у него в лаборатории один лауреат Ленинской премии — академик Понтекорво. С моим приходом их станет двое. Да, очень странно, что я не подумал о переходе в лабораторию Желепова раньше.

На циклотроне в лаборатории Желепова рождаются необычные частицы — мюоны. Эксперименты с такими частицами проводятся во многих лабораториях мира. Эта область науки далека от меня, этим в лаборатории Флерова никогда не занимались. Но случилось так, что во время моей работы в Копенгагене я как-то задумался над тем, что изучение открытого нами в Дубне явления неплохо было бы продолжить с помощью мюонов. И я даже эксперимент придумал, но бурные события в Дубне отодвинули эту мысль на задний план. Теперь я вспомнил копенгагенскую идею. В лаборатории Желепова я смогу над ней поработать. У меня появилось чувство, что судьба словно направляет меня на уже приготовленный путь. Совершенно случайный ход мыслей в Копенгагене приводит меня

после нескольких месяцев неопределенности к двери в новую жизнь. В тот же день я уже разговаривал с Джелеповым.

— Вам надо сходить к Боголюбову. Я уверен, что он не будет возражать против вашего перехода к нам, и даже выделит для этого штатную единицу. Со своей стороны я должен вас предупредить, что у меня нет людей, которые могли бы работать с вами. Рассчитывайте больше на иностранцев.

Разговор с директором института Боголюбовым был коротким.

— Николай Николаевич, я не хотел бы уезжать из Дубны. Я был в Киеве, посмотрел все там и, честно говоря, если можно, предпочел бы остаться в Дубне у Джелепова.

— Вот и хорошо, — дружелюбно заметил Боголюбов. — Я рад, что вы остаетесь в Дубне.

Хитро улыбаясь, он добавил, что дело с переводом надо так провести, чтобы Флерову нельзя было к чему-нибудь придраться.

— Для начала напишите заявление на его имя с просьбой отпустить вас из его лаборатории в связи с переходом к Джелепову. Сделайте это для порядка.

После разговора с Джелеповым и Боголюбовым я снова почувствовал, что мир не без добрых людей.

Секретарь Флерова, взяв у меня заявление, прочитала его и улыбнулась. Когда часа через полтора я снова зашел к ней, она сказала, что заявление не подписано Флеровым и он хочет со мной встретиться.

— Почему вы не хотите ехать в Киев? — с этого вопроса началась наша последняя беседа.

— Это мое дело, и я не собираюсь обсуждать его с вами, — напоследок я мог поддразнить человека, который когда-то был моим идеалом.

— Вы должны понять, что в Киеве строится новый циклотрон, и там нужны опытные люди. Вы можете создать там школу.

— Я могу без этого обойтись. Все, что мне от вас нужно сейчас, так это ваш автограф на моем заявлении.

Подперев, как обычно в минуты размышлений, верхнюю губу средним пальцем правой руки, Флеров задумался. О чем? Вспоминал, как мы на Урале вместе работали с килограммами плутония, или то время, когда его старые сотрудники ушли от него, а я остался? Вряд ли. Он, по-моему, не был романтиком и не знал, что такое сентиментальность.

— Знаете, Сережа, — меня словно обожгло от такого обращения, — у меня есть предложение. Уйдем из лаборатории и погуляем по лесу.

Мы вышли из лаборатории и некоторое время шли молча.

— Вы, Сережа, мой первый ученик. Через неделю выборы в Академию наук. Вы находитесь в списке кандидатов, и я очень хотел бы, чтобы вас выбрали в члены-корреспонденты. Давайте договоримся так: я беру свое заявление из партийного бюро, а вы из партийного комитета.

— Я согласен.

Через пятнадцать минут мое заявление с подписью Флерова было у Желепова. Членами-корреспондентами выбрали двух человек, и я оказался первым за ними по числу набранных голосов. Мне рассказывали, что перед выборами Георгий Николаевич Флеров, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, с ног сбился, уговаривая голосовать против меня, „его первого ученика“. Я, кстати, его своим учителем не считал.

Через несколько лет после моего последнего разговора с Флеровым мне довелось разговаривать с одной американкой, физиком, бывавшей в Дубне. Она восхищается Флеровым, он ей страшно нравится, он очарователен.

— Вы думаете иначе? — спросила меня дама, заметив, что я не слишком склонен восторгаться Флеровым, пленившим мою собеседницу.

— Я вас понимаю.

Я действительно понимал, чем очаровал американку Флеров, потому что намного лучше ее знал, что он может быть обаятельным. Но знал я и то, что было неизвестно американке, а именно, что, встретив Флерова много лет тому назад, я увидел в нем не только героя советской атомной эпопеи, человека железной воли, не отступающего перед трудностями, но и человека с безграничным честолюбием, ради достижения своих целей готового на все, не жалеющего окружающих. Когда его сотрудники отвернулись от него, я остался с ним, и несомненно был момент, когда, глядя на нас со стороны, можно было нас и за друзей даже принять. А потом пришло то, что, пожалуй, можно было бы даже назвать пониманием. Я увидел в своем кумире нечто, что никак не мог принять, что было противно моей натуре. Он тоже почувствовал изменения во мне, и с этого момента было ясно, что наши пути разойдутся. Было лишь неясно, когда это произойдет. И, конечно, не совсем верно утверждать, что он не был моим учителем.

Что касается физики, то моими учителями я прежде всего считал тех замечательных ученых, лекции которых я слушал в студенческие годы — Нобелевского лауреата академика Тамма и других. Многому я научился, когда с братом Флерова „работал руками“. Что же касается Флерова-героя, то

он, сам того не ведая и не желая, помог мне понять самого себя, разглядеть свои силы и осознать, что, ежели хочешь устоять, когда тебя бьют, учись драться в одиночку. И это произошло, когда он решил меня, своего „первого ученика” взять за горло. Урок, данный мне тогда, впоследствии очень даже пригодился.

7. ЗАТИШЬЕ

Примерно через месяц после того, как был подписан приказ о моем переводе в лабораторию Желепова, в Доме культуры состоялся праздничный вечер. Лаборатория академика Франка отмечала десятилетие со дня ввода в действие атомного реактора. Программа начиналась с небольшого спектакля, в котором в шуточной форме физики изображали разные эпизоды из жизни лаборатории. Вместе со своей женой я был приглашен на юбилейный вечер.

После спектакля толпа направилась в буфет. Народу было много, и образовалась очередь. Мы с Шурой терпеливо стояли, ждали вместе с другими, когда подойдем к прилавку. В стороне с бутылкой шампанского стоял Франк. Он о чем-то разговаривал с директором одной из лабораторий. Увидев нас, Франк вытащил Шуру и меня из очереди.

— Берите бокалы и присоединяйтесь к нам.

Собеседник Франка только что вернулся из Монголии и еще был полон впечатлений. Ему, оказывается, довелось даже встретиться с главным ламой. Рассказ об этой встрече вызвал у обычно крайне сдержанного и осторожного Франка несколько ядовитое замечание:

— Да, кажется, у нас слишком поспешили с решением религиозных проблем. Поспешили, слишком поспешили.

Разговор о религии в Советском Союзе не пошел дальше этого замечания, туманного, но безусловно таившего в себе скрытое осуждение насилия в отно-

шении православной церкви. Разговор зашел о новом реакторе.

— Это уже не для меня, — философски заметил Франк, намекая на свой возраст. — Для меня он слишком далеко.

Потом, обратившись ко мне, Франк произнес слова, которые, надо сказать, прозвучали странно:

— Я себя чувствую должником перед вами. Ваше положение с работой все еще неопределенно. От одного берега вы ушли, а к другому еще не прибились. Мне надо подумать, как вам помочь.

Что я мог ответить Франку? Да, от одного берега я уже давно отплыл, и в тот момент, когда с благодарностью ухватился бы за протянутую мне руку, ее не было. Мне вспомнились слова одного моего знакомого, что нет более загадочного человека в Дубне, чем Нобелевский лауреат Франк. Предсказать, как поступит этот интеллигентный, говорящий тихим голосом ученый было невозможно. Во время моей „баталии” с Флеровым Франк ни разу не поинтересовался, как обстоят мои дела, и теперь его слова о моей неустроенности звучали доброжелательно, но с оттенком изящного лицемерия.

Вскоре после этого разговора секретарь Франка сообщила мне, что академик хотел бы со мной встретиться. Вопрос, с которым ко мне обратился Франк, был для меня неожиданным:

— В США должна состояться международная конференция по нейтронной физике. Мне очень бы хотелось, чтобы на нее поехал мой заместитель, но, что от вас скрывать: его не пустят. Вы — человек проходной. Может быть, вы поедете на эту конференцию? Конечно, это не ваша область физики, но по-моему, будет полезно, если вы побываете на конференции. Будет она в Олбани, около Нью-Йорка.

Я объяснил Франку, что меня пригласили на Гордонскую конференцию в США, я согласился сделать там доклад, но на две конференции меня не пустят.

— Пустяки, — успокоил меня Франк. — Гордонская конференция начинается за неделю до нашей. Вы сделаете доклад на Гордонской конференции, а потом приедете в Нью-Йорк.

Такое решение меня устраивало, и я согласился. Однако все обернулось иначе и крайне глупым образом. Как всегда, все оставалось неясным до самого последнего момента, и вдруг выяснилось, что меня не пускают на Гордонскую конференцию, но зато я еду на ту, которая интересовала Франка. Я мог чертыхаться и делать все, что угодно, но изменить решение Центрального Комитета и Комитета по Атомной Энергии было не в моих силах. Дня за два до отъезда нас вызвали в Комитет по Атомной Энергии. Оттуда мы должны были ехать на инструктаж в ЦК партии. В ожидании отъезда мы толпились в коридоре. Мимо нас проходил один из руководителей международного отдела комитета. Увидев меня разговаривающим с одним из физиков из лаборатории Франка, он подошел к нам.

— Вы что? В таком виде собираетесь в Центральный Комитет ехать?

— А в чем дело? — удивились мы.

— Вы едете туда без галстуков?

Был жаркий день, и мы оба приехали в Москву в рубашках с короткими рукавами. По какой-то причине инструктаж был отменен, и мы не шокировали партийных чиновников „легкомысленным” видом.

Второй заграничной поездкой после датской командировки была поездка в Польшу на Мазурские озера, где польские физики организовали „летнюю школу” и пригласили меня быть одним из лекторов.

Вместе со мной ехали двое молодых физиков из лаборатории Флерова. Снова поездка начиналась с разговора в Комитете по Атомной Энергии. На сей раз нас инструктировал один из главных гебешников в комитете.

— Как вы готовились к поездке? — обратился он ко мне, как старшему по возрасту в нашей маленькой группе.

— Написал доклад, перевел его на английский язык, подготовил диапозитивы. Это все.

— Вы, самодакен, собираетесь выступать не на русском языке? — у нашего „инструктора” была привычка вставлять в разговор странное и непонятное слово „самодакен”. Вы должны делать доклад на русском языке. Пусть вас переводят.

— По правилам школы я должен говорить на английском языке. Примерно тридцать процентов участников школы — физики с Запада.

— Мало ли что поляки там напишут. Вы, самодакен, говорите по-русски.

— Я буду говорить по-английски. Во-первых, на доклад потребуется в два раза меньше времени, а его у меня и так в обрез. А потом будет смешно, когда кто-то из поляков будет переводить мой доклад. Хоть и не блестяще, но я все сам могу рассказать.

— Я, самодакен, считаю, что вы просто обязаны говорить по-русски.

Я молчал. Разговор зашел в тупик, и у меня появилось дерзкое желание спросить закурившего гебешника, где он покупает сигареты „Уинстон”: в магазинах их нет, а моя жена их любит. Но я удержался от вопроса. Что делать „Самодакenu”? Отменить поездку? И он уже примирительно спросил меня:

— А все-таки, самодакен, лучше было бы делать доклад по-русски?

— Конечно, — не стал спорить я с ним, и удовлетворенный моим ответом, но явно разозлившийся гебешник обратился к молодому физику с вопросом, сколько партий в Польше. Тот не знал, и „Самодакен” стал выговаривать ему за политическую безграмотность.

Мне еще два раза пришлось столкнуться с высокомерным чекистом. Первый раз при отъезде осенью 1973 года в командировку в ФРГ, а второй раз через две недели по возвращении в Советский Союз. Три физика из Дубны, мы сидели перед самоуверенным чекистом и смотрели, как он просматривает документы, заготовленные в связи с нашей поездкой. И опять почему-то разговор начался с меня.

— Где находится текст вашего доклада?

— Его нет. У меня есть диапозитивы, препринты и это все.

— Как, самодакен? У вас должен быть текст доклада, утвержденный в комитете.

— Я не собираюсь рассказывать больше, чем написано в препринтах.

— Тут у меня, — вскипел чекист, — один физик-лирик собирался доклад делать по опубликованной работе академика Арцимовича. Его, самодакен, академик попросил об этом. Так я его не пустил за границу, отменил поездку.

Я молчал. Пусть на здоровье отменяет. Переживу.

— Всегда важен личный контакт с автором, — вступился за меня один из моих спутников, — людям всегда интересно поговорить с человеком, который делал опыты.

Чекист помолчал и, забыв про меня, спросил моего заступника, правда ли, что он один собирается поехать в Карлсруэ. И еще, самодакен, на приемах пейте только для протокола.

Никто из нас троих не знал, что это такое „пить

для протокола”, но не желая продолжать и без этого неприятный разговор, мы промолчали.

По возвращении из Германии мы снова вели с „Самодакеном” длинный, тягучий разговор. Он расспрашивал нас, где мы были, куда нас приглашали в гости, что мы ели, что мы пили и пытался все время на чем-то нас подловить. Чтобы сделать свои вопросы более убедительными, чекист говорил, что сам бывал за границей, жил там и все знает. Когда я сказал, что сделал доклад там-то и там-то, чекист вдруг прицепился ко мне. В „задании на командировку” говорится о чтении лекций, а я, оказывается, делал доклады. Разговор затянулся и стал крайне неприятным. Что я ему морочу голову? Он сам прекрасно знает без меня, что доклад и лекция — не одно и то же. В какой-то момент его заинтересовало, с кем я встречался в воскресенье. Обозленный придирками, я решил „подложить свинью” чекисту и сказал, что встречался с химиками из института, где работал Шрассманн. Не зная, кто такой Шрассманн, чекист чуточку смутился, но не желая показать свое незнание, выжидательно смотрел на меня.

— Шрассманн — это немецкий химик, который вместе с Ханом открыл деление атомных ядер. То самое, которое ваш комитет в мирных целях использует, — объяснил я слегка присмирившему чекисту.

На другое утро в Дубне началось заседание Ученого Совета института. Я пришел послушать доклады. Рядом со мной сел начальник международного отдела института.

— Я слышал, вчера вы долго спорили в Комитете по Атомной Энергии? — обратился он ко мне.

— Да нет, ничего особенного не было, — ответил я.

— Вы — анархист. Ох, и допрыгаетесь вы когда-нибудь, — пообещал мне далее начальник международного отдела.

Однажды мне сообщили, что в назначенное время меня ждут в Центральном Комитете партии. Человеком, пожелавшим встретиться со мной, был Гордеев, заместитель начальника отдела науки. Это был партийный босс, к которому еще в мою бытность работы с Флеровым, тот обращался за помощью. В ведении Гордеева находились все институты, занимавшиеся исследованиями в области ядерной физики, включая и те, которые занимались практически применениями атомной энергии.

— Вы давно занимаетесь наукой, — начал разговор Гордеев, слегка похлопывая по столу ладонью, на которой синел вытатуированный якорь. — Не пора ли вам заняться кое-какими практическими делами?

Далее последовали более детальные разъяснения:

— Вы, конечно, знакомы с Лейпунским. Вы знаете, что он руководит программой развития реакторов на быстрых нейтронах. Александру Ильичу много лет, и здоровье, к сожалению, сдавать начинает. Пора подумать о человеке, который в будущем смог бы его заменить. Мы хотели бы, чтобы вы перешли работать в Обнинск.

Я почувствовал себя не очень уютно. Перейти в Обнинск — это значит снова начать работы с грифом „Совершенно секретно”. Этого я больше не хочу. Я привык к контактам с западными учеными, и хоть стоят здесь на пути чиновники и КГБ, но все же время от времени удается встречаться со старыми знакомыми. С переходом в Обнинск все это кончится. Кроме того, я знал, что КГБ раскрыл в Обнинске деятельность, связанную с Самиздатом, и теперь там

довольно тяжелая обстановка. Ехать в Обнинск мне не хотелось, и я стал отказываться, ссылаясь на то, что начал новые исследования в лаборатории Желепова. Однако Гордеев усиливал давление:

— Пора вам на народ поработать, пора.

После долгого разговора я уехал в Дубну, обещав подумать. Заместитель Желепова, мой знакомый со студенческих лет, узнав, что я не дал согласия, всплеснул руками:

— Этого они не забудут. В Центральном Комитете не привыкли, чтобы от их предложений отказывались. Придется тебе, наверное, согласиться.

Дня через два я встретил в библиотеке академика Маркова, секретаря отделения ядерной физики. От него я узнал, что на него тоже нажимают:

— Гордеев звонил мне и просил надавить на вас. Я отказался и сказал, что вы понадобится в новом институте под Москвой, который мы будем создавать.

Поняв, что отбиться от Гордеева нелегко, я поехал в Обнинск к Лейпунскому. Лейпунский выглядел усталым. Я без всяких обиняков сказал ему, что в Обнинск переезжать мне не хотелось бы. Лейпунский прекрасно понял меня и не стал насиловать, обещал поговорить с Гордеевым.

— Перед отъездом посмотрите нашу новую технику для измерения критических масс. Вы все же издали сюда приехали.

Еще в пору наших дружеских отношений Флеров рассказывал мне о своей первой встрече с Лейпунским. Кажется, Флеров делал у него дипломную работу. Было это в тридцатых годах. Флеров, зайдя в кабинет Лейпунского, почувствовал что-то странное в облике этого ученого, но не мог понять, в чем дело.

— Что вы на меня так уставились? — не выдержал

наконец Лейпунский. — Наголо острижен? Я только что из заключения вышел.

После истории с Флеровым я окончательно утратил интерес к партийным делам. На партийные собрания, как многие другие, я стал брать книгу и без всякого интереса следил за всякими обсуждениями. Однажды ко мне подошел секретарь партийной организации лаборатории и сказал, что меня целый год не беспокоили партийными поручениями, поскольку я осваивался на новом месте. Теперь меня просят побыть во время выборов в Верховный совет СССР председателем избирательной комиссии. Наш кандидат — академик Боголюбов.

— Что вы, это отнимет слишком много времени, да я и не занимался никогда этим делом.

— Вам ничего не надо будет делать до дня выборов. Нам нужно, чтобы комиссию возглавил авторитетный человек. Всю работу на избирательном участке сделают без вас. Вашим заместителем будет заместитель Джелепова по административным делам. У него большой опыт по этим делам. В прошлом году начальник отдела Радиохимии был председателем комиссии. Он вам подтвердит, что я вас не обманываю.

Это — начальник отдела, в котором я работаю, физик, которого я давно знаю. Он действительно сказал, что поработать мне придется лишь в день выборов. Хорошо, что у меня есть автомашина. Почему, он объяснять не стал, а лишь загадочно улыбнулся. Мне в последний день все расскажут.

Кто в Советском Союзе не знает, что выборы — это комедия? Знали это и в Дубне, и тем не менее в день выборов в городе возникало приподнятое настроение. Создавало его, главным образом, появившееся в тот день на прилавках магазина мясо с

громким названием „Россиянин”. Мясо было несколько лучшего качества, чем в будни в магазинчике на территории института. В буфетах на избирательных участках можно было купить даже бутерброды с икрой, мандарины. Одним словом, это был не совсем обычный день.

Я пришел, как полагается, к шести часам утра. Все было готово к началу голосования. На втором этаже Дома культуры в большом холле в виде буквы „Г” стояли столы. За ними сидели нарядно одетые девушки, которые будут выдавать бюллетени. Ориентиром к урне служила блестящая лысина бронзового Ленина. Справа и слева от лысины в белых рубашках с красными галстуками стояли два пионера. Кабина с тяжелыми зелеными шторами скромно стояла в стороне у стены.

Как только открылась дверь, в здание ворвалась группа человек из пятнадцати. Мой заместитель объяснил мне, что первому проголосовавшему принято делать подарки. На этот раз это был альбом с видами Москвы. Группа, ворвавшаяся в зал, бегом устремилась к столам с девушками. „Счастливчик” — первый проголосовавший, пожилой мужчина с хмурым видом принял от меня подарок и, не сказав „спасибо”, убежал.

— Упоминать его имя в газете неудобно, — заметил кто-то, — он не скрывает своих антисоветских взглядов.

Энтузиазм первой группы избирателей объяснялся просто. В шесть двадцать из Дубны уходила в Москву электричка, и „энтузиасты” боялись опоздать на нее. Наступило затишье часов до девяти. Помимо членов избирательной комиссии и агитаторов на участке должен был присутствовать уполномоченный городского комитета партии. На сей раз им был слонявшийся по залу заместитель директора

института „по режимным вопросам” Терехин. Его указания сегодня имели силу распоряжения партийного руководства города.

Бедным агитаторам надо было торчать на избирательном участке, пока их подопечные не проголосуют. К шести часам вечера снова стало тихо, и большая часть агитаторов разошлась по домам. Не проголосовало примерно пять-шесть процентов избирателей. Где эти „проценты”, никто не знал. Скорее всего ушли на огороды. Кто-то уехал на рыбалку. Может быть, кто-то еще придет, но вряд ли число проголосовавших перешагнет за девяносто семь процентов. Так или иначе, неявившиеся „портили” картину. Тут, наконец, наступил момент, когда потребовалась моя автомашина. Я начал ездить по домоуправлениям. Сегодня они работают, и в них уже толпятся председатели избирательных комиссий. Это был тот загадочный момент, о котором мне сказал начальник отдела Радиохимии. На столах домоуправлений росли горы справок. Председателям комиссий надо с собой захватить список неявившихся, и секретари домоуправлений знают, что делать.

В справках говорилось, что „гражданин Н. из Дубны выбыл”. Лучше иметь пачку таких справок заранее и не доводить дело до последнего момента. За пять минут до закрытия избирательного участка неявившихся вычеркнули из списка, к которому приложили пачку справок. Число проголосовавших стало отвечать советским стандартам. Никого из присутствующих процедура „урезания” списка избирателей не смутила. Какое это имеет все значение, когда кандидат один и обязательно будет избран.

Пришло время просматривать бюллетени. Сколько „за” и сколько „против”? Кандидат в бюллетене один, и по укоренившемуся еще со сталинских времен мудрому обычаю советские граждане перестали

заходить в кабины и прямо шли к урне. Сегодня, как всегда, заглянувших в кабину мало. Поэтому, естественно, бюллетени шли чистенькие, нетронутые. Вот, наконец, бюллетень с фамилией кандидата, жирно перечеркнутой крест накрест. Уполномоченный городского комитета партии Терехин объясняет, что по имеющейся инструкции, которой здесь нет, о которой я ничего не слышал, но которая существует, „против” считается действительным лишь, когда фамилия кандидата вычеркнута горизонтальной линией. Чудеса! Стало быть обнаруженный бюллетень недействителен. Вот еще один бюллетень с фамилией, вычеркнутой аккуратной горизонтальной линией. Но на сей раз избиратель погорячился и внизу написал что-то нехорошее о советской власти в выражениях, явно нелитературных. Согласно инструкции — избиратель хулиган. Судить его за хулиганский поступок, естественно, невозможно, но бюллетень считается недействительным. В третьем бюллетене фамилия кандидата вычеркнута, но не целиком. Избиратель торопился или вдруг чего-то испугался. По инструкции считается, что избиратель проголосовал „за”.

Наконец, работа закончена. Проголосовало более девяноста восьми и девяти десятых процентов избирателей. „За” голосовали девятьсот девяносто семь избирателей из тысячи. Мешок с документами должен мной быть доставлен в центральную избирательную комиссию в здание исполкома. Чтобы „защитить от возможного нападения”, меня в казенной машине сопровождает вооруженный милиционер. Разыгрывать комедию, так уж по-настоящему.

В исполкоме торжественная обстановка. Я заполняю какую-то анкету о передаче центральной комиссии бюллетеней с протоколом избирательной комиссии. Мне, однако, не дают сразу уйти. В одной из

комнат „отцы города” — секретари городского комитета партии, председатель исполкома, руководители гебешников поздравляют меня с „успешным завершением избирательной кампании”. Заодно они интересуются, много ли таких, которые отказались голосовать. Были, список Терехин составил. Обычно — это отказы, вызванные плохими жилищными условиями. Дадут комнату, пойду голосовать. Это хоть и не опасные, но все же „антисоветчики”. Между тем в помещении нашей избирательной комиссии жизнь продолжается. Завтра не надо идти на работу, на столе тарелки с колбасой, сыром, несколько бутылок водки. Деньги на выпивку выданы исполкомом. Наверняка, что-то подобное происходит и в центральной комиссии. Только закуска там лучше и кроме водки есть и коньячок.

Это случилось года через два после выборов в Верховный совет. Я снова отключился от общественных дел и занимался только физикой. Однажды забарахлил двигатель моих „Жигулей”. Я позвонил своему знакомому Д. Он был по профессии инженером, но спился, утерять всякий интерес к работе, хотя был неплохим специалистом. В прошлом Д. участвовал в автогонках и автомобили остались его страстью. Все владельцы автомашин знали, что диагноз Д. всегда правилен. Д. посмотрел двигатель и сказал, что „полетели поршневые кольца”.

— Постарайся поскорее отделаться от автомашины, — посоветовал он мне.

Я вернулся из гаража домой. Минут через тридцать позвонил телефон. Звонил Д.

— Зайди к Виктору, я у него. Насчет машины поговорить надо.

Не будь у меня автомобильных забот, не пошел бы я к своему бывшему приятелю, жившему в

квартире напротив. Через несколько минут я был у него. Д. и хозяин сидели на кухне и пили водку. Для Д. одна бутылка ничего не значила, и часа через два на столе стояли уже три пустые поллитровки. Разговор начался с автомобильных дел, и Д. снова принялся меня уговаривать продать „Жигули”. Разговор перешел на другое, и Д. начал подшучивать над любовными похождениями Виктора. Как случается, разговор на время прервался, и вдруг Д. посмотрел на меня, выругался и рассказал, что на прошлой неделе Терехин, заместитель Боголюбова, директора института, попросил его, Д., посмотреть автомашину.

— Поглядел я движок, отрегулировал, и тут еще мужики пришли, решили выпить. У Терехина в гараже. Помнишь флеровского заместителя по административным делам. Этот тоже пришел. Выпили они крепко. И спрашивает Терехин: как лучше стрелять, в лоб или в затылок. Спорить начали. Ну, заместитель нашего Флерова, сволочь, рассказывает, что одно время любил он после завтрака с кем-нибудь из заключенных погулять. О жизни поговорить, а потом пристрелить. Меня, гады, за человека не считают. Такое обсуждать стали.

От услышанного я протрезвел. Значит в нашем городе живут припеваочи самые настоящие убийцы, которые в лагерях людей расстреливали. Живут спокойно, не беспокоясь, что кто-то спросит с них за их преступления. Терехин просто как сыр в масле катается. Еще бы: ближайший помощник директора института. А бывший заместитель Флерова, с которым я несколько раз на рыбалку ездил, теперь работает заместителем директора самой крупной дубненской лаборатории. Стали, оказывается, бывшие палачи физикам помогать.

В начале семидесятых годов почувствовалось, что Дубна стареет и даже загнивает. Началось все это раньше: после ухода китайцев в первой половине шестидесятых годов. Чешские события 1968 года окончательно надломили идею „дружбы”. Дух института резко изменился. Среди чешских физиков, приезжавших в Дубну, выплыли на поверхность и такие, кто постарался сделать карьеру, затоптав во время чисток своих коллег, не одобрявших „братскую помощь” Советского Союза. Конечно, были среди приезжавших и приличные люди, но в целом не тем духом пахнуло в Дубне.

Упадок Дубны ощущался явственно. Когда-то жители окрестных поселков заполняли город, надеясь купить что-либо из продовольствия. После того как снабжение города продуктами питания стало резко ухудшаться, они обратились для городских властей, да, что греха таить, и для некоторых жителей Дубны, не относящихся к дубненской элите, в „саранчу”, объедающую город. Чтобы отсечь „мешочников” — простых русских людей, желающих купить самую малость, во время международных конференций связь с городом по Волге на катерах прерывалась. Торговля во время партийных конференций мандаринами, кофточками и другими товарами стала обращаться в традицию.

В Москве, похоже, к идее создания „образцового социалистического” города стали охладевать. Сделать из Дубны „витрину” советского города не удалось. В быт прочно начала входить торговля из-под прилавка. Чтобы как-то уменьшить недовольство иностранцев, для них создали специальный магазин. Когда один из моих знакомых поляков с возмущением заявил административному директору, что русские имеют не меньше права на молоко, чем иностранцы, его быстро выставили из Дубны и от-

правили в Польшу. Иногда приходилось просить иностранцев купить мяса, и это было унижительно. Особенно отвратительно все выглядело, когда доходили разговоры, что „вчера у председателя исполкома жрали убитого на охоте лося, и упившийся хозяин опрокинул на себя самовар”. При бассейне для купания соорудили для „избранных” финскую баню. Одним словом, все шло в духе времени.

В научной программе внезапно обнаружился резкий спад. Материальные ресурсы оскудели, и борьба за них между лабораториями обострялась. Я был в стороне от всего этого, стараясь получить хотя бы минимальную поддержку для наших экспериментов. Они шли неплохо, но мы начинали понимать, что по-настоящему интересные исследования можно провести только на Западе: в Лос-Аламосе в США или в Швейцарии. Рассчитывать, что нас пригласят работать в Лос-Аламос не приходилось, а что касается Швейцарии, то тут дело не выглядело безнадежным. Однажды в Дубну приехал знакомый норвежский физик, работавший в Женеве, в Европейском Центре Ядерных Исследований, ЦЕРНе. Перед отъездом он сказал мне, что если я надумаю делать опыты в ЦЕРНе, то должен дать знать об этом. Я обещал подумать.

Осенью 1974 года мы закончили серию опытов, показавших, что наша аппаратура работает хорошо. Мы даже получили кое-какие результаты, которые смогли опубликовать в научных журналах. Новая для нас область физики переставала быть „белым пятном”. И наконец настал момент, когда я смог сообщить своему приятелю, датскому физику, работавшему в ЦЕРНе, что был бы рад начать в Женеве совместные опыты.

Почти полная потеря интереса к дубненским делам, наверное, по каким-то скрытым каналам связывалась со все возрастающим чувством отрицания советского стиля жизни в целом. Я мало знал о диссидентских настроениях в Москве. Слухи о них доходили случайно. Травля академика Сахарова и „осуждающие“ письма, подписанные академиками, вызывали презрение к трусости или подлости подписывавших. Так ли уж много надо было иметь мужества, чтобы отказаться от поступка, на всю жизнь остающегося грязным пятном. Чистота мыслей Сахарова поражала меня, но еще больше я восхищался его личным мужеством.

Одним из основных чувств, начинавших все более переполнять меня, было ощущение серости и скуки. Оно лишь на время исчезало, когда наступал отпуск, и вместе с нашими новыми друзьями мы уезжали куда-нибудь на автомашинах далеко от Москвы. Но и тогда приходилось наталкиваться на что-нибудь, от чего душу воротило. Уехать куда-нибудь хотя бы на время, вздохнуть свободно. Это желание забыть про партийные собрания, избавиться от чувства, что на тебя кто-то постоянно смотрит, все более связывалось с желанием отправиться в командировку в Женеву.

В конце ноября в Дубну на короткое время приехал из ЦЕРНа шведский физик. Мой хороший знакомый, регулярно встречавшийся с ним, знал о моих намерениях уехать в Женеву и однажды предложил мне поужинать вместе в кафе Дома ученых. Швед, работавший вместе с моим приятелем, обещал рассказать в Женеве о состоянии дел в Дубне. После ужина я пошел проводить его в гостиницу и взять препринт, который он обещал мне дать.

От Дома ученых до гостиницы идти минут десять. Пройти до конца улицы Жолио-Кюри и свернуть от-

сюда направо. От перекрестка до гостиницы метров триста. На полпути я почувствовал что-то странное. Я внезапно перестал узнавать окружающее. Что это за здание с темными, неосвещенными окнами? В луже отражались огни еще не снятых после ноябрьских праздников гирлянд красных лампочек. Почему-то их отражения в лужах стали расплывчатыми, и я не понимал, что это за красные огни плавают и качаются на неподвижной поверхности. Идти вдруг стало трудно. Швед что-то мне рассказывал, но я почти ничего не понимал из того, что он говорил. Слава Богу, мы поднимаемся по ступенькам лестницы. В холле гостиницы слева находится стойка, за которой сидит дежурный администратор. Справа — небольшой бассейн с зелеными креслами вокруг. Я все это знаю, но сейчас ничего не вижу. Все вокруг задернуто зеленым занавесом. Швед предлагает мне подняться к нему в номер. Спасибо, я посижу здесь. Меня что-то страшно мучает, но боли нет. Шура и Катя сейчас в кино. Послать кого-нибудь за ними? Я слышу голос, протягиваю руку, чтобы взять пре-принт, говорю в пустоту „Сенк ю”, и все исчезает.

8. ЭЙФОРΙΑ

Придя в себя, я увидел склонившегося надо мной врача, измеряющего кровяное давление. В полутемной комнате у стены, сжавшись, сидели Шура и Катя. Меня по-прежнему что-то сосало.

— До чего же мне тяжело? — было единственное, что я произнес. Внезапно меня стало рвать.

— Что вы ели?

— Рыбу, выпил немного сухого вина, чашку кофе.

Похоже, что я отравился. После каких-то уколов мне стало легче, и я уснул. Проснулся я свежим и бодрым. После врачебного обхода я уйду домой. Пришла медицинская сестра, делающая кардиограммы. Дежурный врач сказал, что скоро я смогу идти домой. Внезапно в комнату вкатили кресло. Меня, словно я был из стекла, начали осторожно пересаживать в него с кровати. Я изумился. Слова, что я сам могу перейти в другую палату, не действовали. В маленькой палате, где я оказался один, меня переложили на постель.

— Не вставайте, не делайте резких движений.

Пришедшая вскоре заведующая терапевтическим отделением очень мягко объяснила мне, что кардиограмма не совсем хорошая и мне надо немного полежать. Когда вечером Шура пришла меня навестить, я был поражен ее подавленным видом. Оказывается, никакого отравления не было, а произошел небольшой инфаркт. Теперь мне предстояло долго лежать в кровати. Второй день прошел тихо. Ничего не произошло и следующим

утром, но вечером Шура буквально влетела в палату:

— Поздравляю! Тебя выбрали в Академию наук! С первого тура.

Это была приятная новость. Посыпались телеграммы с поздравлениями, а на другой день ко мне прорвались двое моих лучших друзей студенческих лет.

— Не понимаю, — изумлялся один из них, — как тебя могли выбрать в члены-корреспонденты? Ведь ты совсем не умеешь плести интриги. Да и к школе ты ни к какой не принадлежишь.

— Возможно, поэтому я туда и попал. Просто расстановка сил такая сложилась.

Вскоре меня навестил приехавший из Москвы Желепов. Он рассказал, как происходили выборы, и кончил тем, что предложил мне стать начальником нового отдела в лаборатории. Меня это предложение не обрадовало, потому что я хотел прежде всего заниматься исследованиями в ЦЕРНе, тем более что из Женевы сообщили о желательности моего приезда. Кроме того я понимал, что в отделе будут работать старые сотрудники лаборатории Желепова, научные интересы которых далеки от моих. Но Желепов уговаривал меня, подчеркивая, что после выборов в Академию наук мне неприлично оставаться начальником сектора. Приход Понтекорво повлиял на мое решение:

— У вас будет хороший заместитель. С ним не будет никаких хлопот с административными делами.

В конце концов я согласился на просьбу Желепова.

Когда через полгода, оправившись от болезни, я пришел в лабораторию, встретившийся мне Понтекорво сказал:

— Я уверен, что долгое пребывание в больнице не прошло для вас бесследно. Вы узнали много нового. Не так ли?

Да, Понтекорво был абсолютно прав. В больнице, находясь большую часть времени один, я впервые ощутил, что такое покой. Побывать одному, наедине с собственными мыслями и книгами — этого, оказывается, мне давно не хватало. Однажды мне даже пришла в голову странная мысль. Каким приятным должно было быть в свое время путешествие из Москвы в Петербург. Сидишь в кибитке, прикрытый медвежьей шкурой, вокруг снег, колокольчики тройки позвякивают. Сидишь и думаешь. Никто тебя не тревожит. Темп жизни стал слишком быстр, и тебя увлекает общим потоком. Все время смотришь только вперед и некогда оглянуться, припомнить, что случилось с тобой, и хорошенько задуматься. Странно, для этого надо, оказывается, заболеть, причем серьезно. Я „глотал” все книги, которые Шура таскала ко мне пачками. Мемуары Витте о старой, дореволюционной России, книги о животных, стихи Ахматовой, Пастернака. На пару дней попала недозволенная книга Фишера о Ленина. В одном из журналов я наткнулся на отличную повесть, написанную молодым писателем, с которым я познакомился во время нашего летнего путешествия на Дон.

Это путешествие осталось в памяти, и, читая полную горечи повесть, я видел перед собой ее автора, молодого чубатого парня с усами. По-моему, именно такие донские казаки когда-то проводили полжизни в седле, в далеких походах. В то лето на четырех „Жигулях” мы добрались до укромного уголка на берегу Дона и расположились в палатках, „табором”. На другой день после нашего приезда мы обнаружили, что на изобильном когда-то Дону скучно

и бедно. Молока нигде не купишь, кроме как в совхозе, да и там только с разрешения директора совхоза. Наиболее инициативные из нашей группы отправились разговаривать с начальством, захватив с собой предусмотрительно взятую из Дубны справку, в которой указывалось, в частности, что в составе „экспедиции” находится лауреат Ленинской премии. Это помогло. Мы получили разрешение покупать молоко и другие продукты в совхозе. Бухгалтер совхоза во время разговора поинтересовался, слышали ли мы о писателе Виталии Закруткине. Да, но книг не читали. Бухгалтер, толстый симпатичный дядя, снабдил нас литературой и обещал организовать встречу с местной знаменитостью, другом самого Шолохова. Насколько я знал, Закруткин был секретарем Союза писателей РСФСР, но уверен в этом не был.

Через пару дней мы были приглашены к именитому хозяину. От центра станицы к дому или, скорее, к поместью Закруткина вела асфальтированная дорога. Огромный дом, большая территория сада, несколько псов, гостеприимный хозяин — ну чем не старое, дореволюционное время? Мы сидели, пили сухое молодое вино. Случайно в разговоре упомянули Солженицына, и Закруткин сказал, что Солженицын пишет безграмотно. Моя жена налетела на Закруткина, не считаясь, что мы у него в гостях. И тот, не желая обострять разговор, сказал, что сам был в лагере:

— Это неправда, что не было сопротивления. Были герои. При мне секретарь комсомольский одного из здешних районов отточил пуговицу и перерезал себе горло.

Представления Закруткина о героизме показались мне несколько странными. Разговор перешел на нашу неудачную рыбную ловлю.

— Судаков в Дону больше нет, — заметил Закруткин, — и вообще рыбные ресурсы Дона не восстановить.

Пригласив Закруткина посетить наш „табор“, мы уехали.

На другой день вместе со своим приятелем я приехал к Закруткину. Его жена провела нас в увитую диким виноградом беседку. Там за столом, кроме хозяина, сидел по пояс голый усатый парень — донской казак. Двое других молодых людей интеллигентного вида были из Ростова — один из них писатель, другой архитектор. На столе стояли бутылки с водкой. Захватив с собой водку и нагрузив автомашины перцем, баклажанами, помидорами, мы все отправились в наш лагерь.

Через два часа все были изрядно пьяны и горланили казачьи песни. Было уже темно, когда мы всей компанией двинулись к Закруткину. Сидевший рядом со мной молодой парень — донской казак — засмеялся:

— Какого черта я вторую неделю сижу у „папы“, когда дома молодая жена скучает?

Писатель из Ростова объяснил мне, что „папа“ — это Закруткин, который регулярно выручает „донского казака“ с его буйным нравом из разных историй. Закруткин — человек влиятельный, член областного комитета партии.

Винопитие продолжалось, но уже в доме Закруткина. „Донской казак“, держа в руке стакан с вином, начал торжественным голосом „выражать свои сомнения“:

— Слушай, папа, во всем мире я знаю только двух настоящих писателей — Хемингуэя и тебя. Все остальные — дрянь. Что будет, когда ты умрешь? Никого не останется.

Судя по всему, Закруткин хорошо знал своего

„подопечного” и не обижался. На другой день, не оправившись как следует от казачьего разгуля, мы двинулись в сторону Москвы.

Забыть зеленый занавес, закрывший от меня мир вечером того дня, когда я рухнул без сознания на пол в гостинице, я не мог. Занавес не пугал, но я понимал, что, упав, мог и не подняться. Мне повезло, и я вернулся к жизни. Вернулся, заглянув туда, где все кончается. Заново родился и смотрел на окружающую жизнь по-новому. Надо делать свое дело и не забывать, что живешь один раз. Надо ценить то, что дано, но не надо бояться и потерять. Недавно одна из врачей не совсем тактично посулила мне: „Теперь вы не побежите за автобусом”.

Она ошиблась: не только за автобусом побегу, но через несколько лет на лыжах снова кататься буду. Разве можно отказаться от бега по лыжне в начале марта, когда снежное поле искрится от весеннего солнца?

После трех месяцев больницы я медленно поднимался к себе в квартиру. С одной стороны меня поддерживала Шура, с другой — медицинская сестра. Голова слегка кружилась. Наконец я сажу в кресле, и мой верный друг, собака Черри, положив мне на плечи лапы, тщательно меня облизывает. Скоро мы будем целыми днями гулять. Еще три месяца мне предстоит провести дома и в санатории. Потом я начну работать и, конечно, первым делом займусь организацией сотрудничества в Женеве. В сентябре в Дубну приедет из Женевы мой приятель, датчанин, и к этому времени мне надо быть в форме. А пока что познакомиться пришел мой заместитель по делам в новом отделе. Наш разговор был кратким.

— Отдел у нас сильный, — начал заместитель, — в отделе у нас тридцать коммунистов.

Я чуть было не поперхнулся, услышав такую оценку силы научного отдела. Может быть, лучше иметь одного талантливое молодого парня, чем тридцать мужиков с солидным партийным стажем. Спорить, однако, я не стал. Похоже, Понтекорво прав. С таким заместителем мне будет легко. Оказание помощи подшефному совхозу, социалистическое соревнование, дежурства на улице дружинников — всю эту чепуху мой заместитель будет делать добросовестно (избавив меня от этого) и верить при этом, что делает полезное дело.

Выпуская из больницы, меня снабдили справкой, в которой говорилось, что в связи с моим заболеванием желательно, чтобы моя квартира была расположена не выше второго этажа. Надо будет попросить четырехкомнатную квартиру. Сейчас у меня квартира из трех комнат, но на самом деле две из них образуют одну большую. Кате нужна комната, да и мне, в конце концов, не мешало бы завести кабинет. Все-таки я теперь к элите отношусь. Не только лауреат Ленинской премии, но и член-корреспондент Академии наук. И не Таджикской или Азербайджанской, а Академии наук СССР. У Желепова в Москве квартира, а в Дубне коттедж. У Флерова то же самое. И у других не хуже дела обстоят. К тому же у меня в Москве отец живет. Он один живет, и ему уже немало лет. Иногда было бы неплохо ему в Дубну приезжать и с нами пожить. Стесняется. Спать-то негде.

Ответ из месткома на мое заявление с просьбой предоставить мне четырехкомнатную квартиру был скорым. Оказывается, у меня нет никаких оснований просить четырехкомнатную квартиру, и вообще мое заявление может быть рассмотрено лишь „на общих основаниях”. Ну и черт с ними. Зря я, кажет-

ся, себя к элите поспешил причислить. Однако мне нельзя волноваться, и поэтому на время я должен забыть о своих неприятностях.

Я всегда любил природу и, когда-то заядлый рыболов, знал, что такое встречать утренний рассвет в лодке на середине озера. У меня всегда на душе радостно становилось, когда солнце на короткий миг превращало воду в красный расплавленный металл. Рыбная ловля, охота были когда-то моей страстью, но теперь никакая сила не заставила бы меня выстрелить в летящую утку. Зато я мог долго следить за быстрыми движениями головастика в весенней луже, внимательно рассматривать набухающие почки. И однажды... Вдруг начал сочинять стихи. Многие болели этой болезнью, а теперь она неожиданно коснулась меня. Весна — это гроза, лето — ливень. Когда придет осень, я попробую рассказать про „ее бесшумные шаги, рощ сонных огненный наряд, воды чернеющей круги, коричневую бахрому опять“. Я перечитывал Лермонтова, Толстого и передо мной возникал образ раненного абрека, возвращающегося после набега на русские селения в горы:

Велик Аллах, прославлен он
В молитвах мулл,
Крепись, джигит, вернешься ты
В родной аул.

Иногда появлялось желание что-то написать о людях вокруг меня, но слова не подчинялись мне. Кончилось все тем, что в одной датской газете появилось, естественно, на датском языке стихотворение, об авторе которого лишь говорилось, что живет он в Советском Союзе. Я не знаю, как стихотворение звучало по-датски, но по-русски оно начиналось словами:

Русские люди, тише,
Громко не говорите,
В ваших подвалах снова
Ползают серые мыши.

После избрания в Академию наук я стал аккуратно посещать собрания как общие, так и отделения ядерной физики. Но еще до этого у меня сложилось определенное мнение об этом почтенном заведении, часто в газетах бестактно именовавшимся „штабом советской науки”. Во-первых, ежели прогнать из нее проходимца Лысенко и марксистов-философов, то значительная часть оставшихся сделала за свою жизнь что-то важное и интересное. А если судить по физикам, то тут и „звезд первой величины” встретить немудрено. Во-вторых, похоже, что Академия наук — единственное учреждение в Советском Союзе, где чиновники еще не одолели целиком окружающих, не оседлали академиков. Например, список кандидатов перед выборами в Академию наук одобряется до опубликования в газетах Центральным Комитетом партии, но не во власти партийных боссов заставить академиков выбрать того, кто больше нравится боссам.

События 1973 года, когда в газетах началась кампания по оплевыванию Сахарова, сильно подорвали авторитет Академии. Когда какой-нибудь Герой Социалистического Труда, „знатный сталевар”, подписывал письмо, заготовленное для него в редакции „Правды”, каждый понимал, что фигура эта дутая. Сегодня о нем газеты пишут, а завтра он начальству не угодит, и его славу будто корова языком слизнет. И уже недавнему „герою” до алкаша дорога короткая. С академиками дело другое. Ни научных заслуг, ни звания академического, ни ежемесячных пятисот рублей в месяц не отнимешь так просто.

Академическое звание — это щит и при этом достаточно надежный. Поэтому, глядя на список „подписантов” письма против Сахарова, где говорилось, что он уже и не ученый даже, только удивляться можно было. Оказались в том списке люди с громкой и вполне заслуженной славой. Как же им не стыдно было такое письмо подписывать? Наверное, кое-кому неприятно было, черня Сахарова, свое собственное имя пачкать, но не все устояли, далеко не все. Так, например, позвонили одному академику, Нобелевскому лауреату, в Дубне и попросили в партийный комитет зайти, письмо в местную газету по поводу Сахарова подписать. Попытался академик от грязного дела ускользнуть:

— Мне некогда, через пять минут я уезжаю в аэропорт, в Шереметево. Я в Мюнхен улетаю.

— Вы не волнуйтесь, мы через три минуты к вам на машине подъедем.

Но не со всеми все гладко шло. Когда о том же самом попросили Бруно Понтекорво, тот сделал удивленное лицо:

— Андрей Дмитриевич Сахаров? Что же он такое натворил? По-моему, он даже очень приличный человек. На следующей неделе я в Москве буду, поговорю с ним.

Позднее я узнал, что в Москве и Обнинске нашлись люди без высоких чинов и званий, которые не побоялись написать письма с требованием справедливости в отношении Сахарова. Кое-кого за это дело с работы прогнали. Ну, а я сам, лауреат Ленинской премии, обладатель ордена Ленина, почему не подумал как следует и не написал что-нибудь дерзко в Политбюро? Не решился, как сотни и тысячи других ослабевших духом. Ждал, когда другие это сделают. И, как полагается в таких случаях, побаивался. Не за себя, естественно, а подобно остальным

— за ближних. Можно подумать, что у физика-теоретика Валерия Турчина в Обнинске, которого уволили из института, родственников не было!

Я гордился тем, что меня избрали в отделение ядерной физики. В нем когда-то состояли Курчатов и Тамм, Нобелевский лауреат, которого мы, студенты, в бытность моей учебы боготворили. И теперь, когда я попал в отделение, оно совсем не походило, например, на отделение литературы, где на роль „духовного отца“ мог претендовать Шолохов, даже при получении Нобелевской премии не постеснявшийся гордо заявить, что он — коммунист. Вообще в отделении ядерной физики были двое, судьбы которых не могли сравниться ни с чьими. Оба — ученые мирового масштаба — Сахаров и Понтекорво пришли к отделению с разных сторон. Один — от советской водородной бомбы, другой — из далеких заморских краев. Один, достигнув высших почестей, разочаровался в советской системе, другой, поверив, что ей, советской системе, принадлежит будущее, словно спасаясь от погони, еще в сталинские годы прилетел в Москву и стал советским коммунистом. Я не знаю, было ли у них что-либо общее кроме физики. Возможно, нет, судить об этом не берусь.

Не менее половины членов нашего отделения я знал уже много лет. Одним я сдавал экзамены, будучи еще студентом, с другими познакомился, работая в лаборатории Курчатова, или позднее в Дубне. Но, странное дело, приезжая в Академию наук на заседания, я часто испытывал чувство некоторой скованности. Это не было смущение плебея, случайно попавшего в общество патрициев. Нет, такого не было. Да, и какими патрициями могли показаться Флеров, Джелепов и те же нобелевские лауреаты Франк и Черенков? Но желание поскорее уйти воз-

никало неизменно, и я не мог понять, откуда оно берется. Я с интересом слушал разговоры на заседаниях, сам, как многие, не выступал... и с удовольствием уходил из Дома ученых, где обычно проходили всякие академические сборища.

Через несколько лет после того, как я был избран в Академию наук, мне довелось как-то провести вечер с друзьями-датчанами. Мы говорили о жизни, о том о сем, и жена моего друга, датского физика, сказала:

— Сергей, вам надо было быть не физиком, а рабочим.

И тогда я понял, что те чувства, которые меня охватывали при посещении Академии наук, не были случайными. Слова датчанки помогли мне осознать, в чем дело. Я догадался, что мне всегда была свойственна, если так можно сказать, „антиэлитарность”. Сказать, что в молодые годы я был лишен честолюбия, было бы ложью, но по мере моего продвижения по иерархической лестнице желание подниматься выше уменьшалось, хотя до конца я не сознавал этого. Но все же моя знакомая датчанка была права только наполовину. Наверное, однообразный труд рабочего мне наскучил бы, и меня потянуло бы к чему-то недостижимому. Возможно, не случайно еще в далекие юношеские годы, когда я мечтал посмотреть далекие страны, я завидовал морякам.

Приезжая по делам в Москву, я обычно был нагружен всякими поручениями, не имеющими никакого отношения к науке. Купить мяса, апельсины, взять белье из „Химчистки”. На все это уходило остающееся до отхода поезда в Дубну время. Но если поручений не было, то я обычно забегал навестить отца.

Однажды после заседания отделения ядерной физики я обнаружил, что в моем распоряжении осталось часа четыре, и решил навестить места, где прошли мои молодые годы. Слава Богу, от станции метро „Сокольники” линия протянулась дальше к окраинам Москвы, и я быстро очутился на Преображенской площади. Не был я здесь лет пятнадцать, но, к моему удивлению, легко узнал знакомые места. Зато Черкизово, начинавшееся за Преображенской заставой, исчезло. Вместо маленьких деревянных домиков с голубятнями во дворах, стояли большие дома. На моей родной улице по-прежнему росли липы, но почему-то они словно стали ниже, да и вся улица оказалась очень короткой. Я легко нашел наш дом, но никого из проходивших мимо признать за знакомого не мог. Зайти в какую-нибудь квартиру и спросить, что с кем стало? Зачем? Ничего особенно радостного, наверное, не услышишь.

Все, прощай Преображенская площадь. Вряд ли меня еще раз занесет сюда. Я замерз, проголодался и решил перекусить в своем любимом месте, в маленькой „Пельменной” недалеко от Художественного театра.

Как всегда, стояла небольшая очередь, и передо мной оказалось трое мужчин. По их разговору я сразу догадался, зачем они пришли:

— Иди занимай столик в углу и жди нас.

— Стаканы не забудьте.

Взяв пельмени, я поискал свободное место и оказался в углу за тем же столиком, что и соседи по очереди. Один из них внимательно поглядел на меня и, поняв, что меня опасаться не следует, вытащил из бокового кармана бутылку водки. Обращаясь ко мне, он произнес:

— И все-то нам, россиянам, словно воровать что-

то приходится. Простой вещи по-хорошему сделать не дадут.

Над головой говорившего висело большое объявление: „Приносить с собой и распивать спиртные напитки строго запрещается. За нарушение – штраф”. В углу был мелко напечатан номер параграфа какого-то постановления Моссовета. Привычным движением говоривший точно разлил водку поровну в стаканы, освобожденные от мутной бурды, именуемой кофе. Времена замызганных забегаловок с задохшими на прилавках бутербродами с красной икрой ушли в далекое прошлое. Теперь, в „эпоху развитого социализма” стало обычным распивание купленной „на троих” поллитровки в подъездах, подворотнях и других укромных местах, где можно было укрыться от милицейского ока. Впрочем, государство не очень строго смотрело на бедных алкашей, поскольку доход от водки составлял весьма заметную статью бюджета.

Осенью из Женевы приехал датский физик. Два дня мы работали, писали проект нашего эксперимента в Женеве. Датчанин увез его с собой, и вскоре мне стало известно, что в Женеве, в Европейском Центре Ядерных Исследований, в ЦЕРНе, наш совместный эксперимент одобрен. К этому времени наша аппаратура была изготовлена и начались ее испытания. В институте известие о принятии в ЦЕРНе нашего проекта встретили с интересом. Джелепов явно был доволен. Вскоре меня вызвали в международный отдел, дали анкеты для жены и дочери, послали нас на медицинскую комиссию. Кажется, никаких возражений против нашей поездки нет. Мой отъезд никак не повлияет на работу отдела, и Джелепов, зная это, даже и не заикается об этом.

Таким образом все складывается хорошо. Скоро я с семьей уеду в Женеву на год. Что будет потом, я не знаю. Вряд ли эксперимент закончится за год, и я готов остаться в Женеве дольше. Что связывает меня сейчас с Дубной? Ничего. Если мне предложат работу на Западе, наверное, я останусь. Но это вряд ли произойдет. Там и своим не всем места хватает. Скорее всего через год или полтора придется вернуться в Дубну и все снова начинать „с нуля”. Продолжать работу на старом ускорителе лаборатории Джелепова будет бессмысленно. Надо будет думать о новой задаче, и опять встанет вопрос, где делать опыты.

9. ТУПИК

Пребывание в состоянии эйфории было не слишком долгим. Как-то меня пригласил к себе Романов, человек, появившийся в Дубне сравнительно недавно, но за короткий срок взлетевший на должность заместителя директора института по международным связям. В отличие от начальника международного отдела, делавшего вид, что он интересуется науками, Романов не строил из себя интеллигента. Он был работником КГБ, у него в Москве было начальство, и корчить из себя умника он не собирался.

Романов не спешил начать разговор, предчувствуя, что он будет неприятным:

— В Москве возражают против вашей поездки в Женеву на год. Вы можете регулярно ездить с короткими перерывами месяца на три-четыре.

Разъяснять мне причины отказа не надо было. Я все сразу понял. Мои ближние, жена и дочь — заложники. Такого мне не надо.

— Вы не хотите отпускать меня в Женеву с семьей. Но тогда я лучше совсем не поеду. Быть в Женеве больше двух недель без семьи я не собираюсь. Создавать видимость того, что я участвую в работе, ни к чему.

Романов нахмурился, помрачнел. Он, наверное, думал, что я огорчусь, но в конце концов соглашусь.

— Знал бы, что так получится, не стал бы оформлять вашу командировку вообще.

До сих пор я ездил на неделю, на две и не раз. Потом в Копенгагене полтора года с семьей провел и

домой вернулся, хотя, как оказалось, спешить было некуда. Теперь мне решили „наступить на хвост”. Ну что же, на компромисс я не пойду.

— Существуют определенные правила, и они установлены для всех. Вы — не исключение. Другие ездят на таких условиях и рады:

— Пусть наслаждаются. Мне нет дела до других. В ЦЕРН я не поеду. Вы меня поняли?

Дома известие об отказе вызвало огорчение, и я представил себе, как посмотрели бы на меня мои ближние, скажи я им, что один буду уезжать в Женеву месяца на три, а потом их в Дубне навещать недели на две. Теперь мне ненавистна мысль о поездке даже на неделю. Все будет напоминать мне, что я — простой холоп, а не свободный ученый. И распоряжаются моей судьбой романовы и терехины. Терехин не только помощник академика Боголюбова. Он в министерстве — член выездной комиссии. Там ему достаточно „нет” сказать, и никакая поездка на конференцию физику больше не светит.

Но что же теперь делать? Конечно, опыт в Женеве должен быть сделан, но все произойдет без меня. К счастью, поляков пока еще не так сильно прижимают, и один из польских физиков, работающих со мной, сможет вместе с аппаратурой уехать в ЦЕРН. А мне все снова с нуля надо начинать. Иностранцы, работавшие в моей группе, разъезжаются, и я остаюсь один.

Джелепов, которому я тотчас же сообщил о разговоре с Романовым, вспыхнул от негодования. Что за безобразие? Он немедленно поговорит с Боголюбовым, директором института. С некоторым удовлетворением я узнал, что Боголюбов тоже негодует, возмущается. Посмотрим, во что выльется все это негодование и возмущение. Скорее всего, в пустой

звук. Конечно, Желепову действительно неприятно. Все-таки намечалось сотрудничество физиков из его лаборатории с ЦЕРНом.

Через день все изменилось. Желепов больше не возмущается, и Боголюбова тоже не слышно. До чего же сильна советская власть!

Поляк уедет в конце лета, и поэтому он вместе с монгольским физиком с утра до вечера возится с аппаратурой. Моя помощь сейчас не нужна, но, когда потребуется, они получают ее от меня. Надо будет, пойду снова к Желепову просить, чтобы в мастерской нам кое-что сделали.

Мне же сейчас надо заняться своими делами, к Женеве отношения не имеющими. В Москве и в Дубне. Недавно я разговаривал с отцом. Он один живет в маленькой однокомнатной квартирке на набережной Максима Горького. Отец считает, что хорошо бы в квартиру к нему прописать Катю. Иначе после его смерти квартиру заберут. Говорить о своей будущей смерти, думая, как в жизни помочь своей внучке! Что поделаешь, от этого никуда не уйдешь, и этого бояться нечего. Но до чего же я ненавижу это подлое слово „прописка”, изобретенное при советской власти. Какие-то гады в Моссовете, старые большевики-пенсионеры будут решать, имеет ли моя дочь право жить в Москве. Я родился в Москве, прожил там половину своей жизни, а моей дочери, возможно, жить там не позволят. Что ждет ее после школы? Скитание по чужим углам. Ведь во всех объявлениях о приеме в высшие учебные заведения подчеркивается, что „иногородние общежитием не обеспечиваются”.

Хорошо известно, что в Моссовете берут взятки за штамп в паспорте с пропиской в Москве. Крупные. Но, будем надеяться, что до этого дело не дойдет. Ведь дом построен Министерством среднего ма-

щиностроения. Там отец до пенсии бухгалтером работал. И я в курчатовское время прямое отношение к делам этого министерства имел. Оно же атомными делами всегда занималось и занимается. С чего начать борьбу за квартиру? Что стоит Боголюбову подписать письмо, в котором „поддерживается просьба члена-корреспондента Академии наук, лауреата Ленинской премии...”.

По совету отца я решил попытаться поговорить с заместителем министра среднего машиностроения Мезенцевым. Когда-то Мезенцев был секретарем областного комитета партии, потом начальником политического управления министерства. Сейчас в ведении Мезенцева находятся разные отделы, и в том числе жилищный. Если министерство поддержит просьбу о прописке Кати в квартире деда, Моссовет возражать не станет.

Как попасть к Мезенцеву на прием? В телефонной книжке не найдешь Министерства среднего машиностроения. Я обратился к секретарю Боголюбова. Что вы, у нас нет телефона. Надо поговорить с Терехиным. Я зашел к нему. Вид у Терехина, как всегда, угрюмый. Наверное, голова с похмелья болит. Говорят, пьет он зверски.

— Вам нужен телефон Мезенцева? Я только что говорил с генералом. Второй раз звонить в Москву мне неудобно. Поговорите с заместителем директора по социальным вопросам, он знает телефон.

Тот оказался более покладистым, чем Терехин, и даже сам, позвонив в Москву, договорился о времени, когда Мезенцев примет меня.

Кроме Мезенцева в его кабинете находился начальник жилищного отдела, мужчина с рыхлым, мятым лицом. Мезенцев — немолодой, с жестким, суховатым лицом, внимательно слушал меня. Из поро-

ды твердокаменных — таково было мое первое суждение об этом человеке.

— Я не думаю, что Моссовет удовлетворит вашу просьбу, так что нам туда обращаться с письмом нет смысла.

— Но что вам стоит поддержать мою просьбу. И отец мой когда-то в вашем министерстве работал.

— Не имеет смысла. Ничего не получится.

— Что же, я все-таки обращусь в Моссовет.

— Желаю удачи.

На что рассчитывал я, отправляясь на прием к Мезенцеву? Ему нет дела ни до меня, ни до моей дочери. Квартиру отца он со временем отдаст своим людям. Моя поездка была бесполезной. Правда, я посмотрел на человека, в 1956 году организовавшего расправу над физиком Юрием Орловым.

Ответ из Моссовета пришел скоро. Секретарь директора прислала мне письмо, адресованное Боголюбову, в котором казенным языком говорилось, что комиссия Моссовета не видит причины дать Кате разрешение жить в Москве. Я вряд ли мог получить документ, который вызвал бы во мне большую ненависть к советской системе. Пока дело касается меня самого, я еще могу усмирить себя. Но теперь, когда мне дают понять, что мою дочь в будущем ждет жалкое существование несвободного человека, которым можно помыкать, я не смирюсь. Этого я не потерплю.

Отец был расстроен, узнав, что Моссовет нам отказал, но считал, что отчаиваться рано. Надо попасть на прием к заместителю председателя Моссовета Мельниченко. Наконец мы сидим в приемной „заместителя мэра Москвы” и ждем нашей очереди. Картина безрадостная. Из кабинета выходит плачущая женщина с маленьким ребенком на руках. В какой-то просьбе отказали. Она начинает рыдать, и

страж закона, милиционер легонько подталкивает ее к двери. Не положено здесь плакать. Сюда бы на полчасика сунуть для профилактики кое-кого из западных интеллектуалов, тоскующих по красному цветку.

Приходит наша очередь. Мельниченко — „заместитель мэра“ — сидит за полированным столом. Почему у всех этих деятелей невозможно найти в лице и проблеска интеллигентности? Их словно штампуют в цехе неизвестного завода. Справа от Мельниченко — комиссия. Вот этот генерал, председатель комиссии, подписал письмо Боголюбову, назвав того Богомоловым. Мельниченко просматривает бумаги и ровным голосом произносит:

— Я не вижу оснований пересматривать решение комиссии.

И язык у этих деятелей стандартный и бесцветный. Основания, пересматривать, решения. Мельниченко ждет, когда мы встанем и, растерянно улыбаясь, попятимся к двери.

— А у вас тем, которые на прием приходят, говорить разрешается? — не скрывая злости, говорю я.

— А что у вас? — удивленно произносит Мельниченко, привыкший больше к слезам и просьбам.

— Скажите председателю вашей комиссии, что фамилия директора международного центра в Дубне не Богомолов, а Боголюбов. И еще объясните ему, что это ученый с мировым именем, депутат Верховного совета. Что же касается меня, то я не собираюсь вам голову морочить. Я москвич и уехал из Москвы в 1958 году. Я хочу, чтобы моя дочь могла жить в Москве без каких-то специальных оснований на то.

Я словно поджег фитиль к пороховой бочке.

— Вы что? Бумаги подписываете, не читая? — заревел Мельниченко в сторону генерала.

Откричавшись и успокоившись, он продиктовал капитану милиции, писавшему протокол:

- Прописать Екатерину Поликанову до окончания учебы в квартире ее деда...

Когда мы уходили, генерал рычал мне вслед, но я только улыбался.

Теперь надо заняться дубненскими делами. Мне все-таки нужна квартира из четырех комнат. И не в том только дело, что мне негде сидеть и работать вечером, когда по телевизору передают концерт и жена хочет посмотреть его. Проблема с отцом тоже не исчезла. Я очень хочу, чтобы он почаще мог к нам приезжать и оставаться подольше. Сейчас ему трудно и одиноко. В Дубне – свежий воздух, тихо, спокойно.

Написав заявление об обмене квартиры, я пошел к директору института Боголюбову.

Мне кажется, что Боголюбов мне симпатизирует и, конечно, ему ничего не стоит взять телефонную трубку, позвонить административному директору и сказать тому, что Поликанову четырехкомнатная квартира нужна позарез. Этих слов будет достаточно, чтобы административный директор помог мне. Я знаю, что, когда нужно, и коттеджи находятся свободные, и квартиры.

Академик внимательно меня выслушал, прочитал мое заявление. Да, конечно, он согласен, что мне нужна новая квартира. И Боголюбов написал на заявлении одну фразу, адресованную административному директору.

Административный директор института – не хам, наглый и откровенный, как его предшественник. Он не скажет о физиках, что „кормит бездельников”. Но что скрывается за его вежливой улыбкой? Административный директор не спешит кончить разго-

вор, не торопится показать мне, что у него много других дел. Он понимает, что у меня трудное положение, и готов разговаривать со мной долго. Но я очень скоро начинаю понимать, что ничего хорошего не услышу, и начинаю чувствовать себя похожим на мячик, отскакивающий от стенки. Дома, конечно, строятся, и люди переезжают из одной квартиры в другую, „расширяются”. Мне надо ждать. Сколько? Ничего определенного он сказать мне не может. И, наверное, не хочет. Кто я для него? Начальник отдела рабочего снабжения, или секретарь горкома, с которыми он вместе парится в финской бане? Да, я ученый с титулами, но силы за моей спиной нет. Другое дело, когда с просьбой придет академик Флеров. Тому не откажешь. А откажешь, так потом пожалеешь.

Кстати об академике Флерове. Вот уже пять лет прошло, как мы расстались, и, кажется, оба не жалею об этом. Говорить нам больше не о чем. Все ушло в прошлое, и ничто нас больше не связывает. Случилось, однако, что меня остановил на улице ученый секретарь института.

— Слушай, недели через две в Дубну из Беркли приезжают конкуренты Флерова — американцы. Тебе известно о споре по поводу открытия сто четвертого элемента с Флеровым. У Флерова состоится встреча с ними. Конечно, разговор будет идти о приоритетных делах. Кто первый открыл сто четвертый элемент? Боголюбов хочет, чтобы ты на этом заседании тоже присутствовал.

— Если меня пригласят, то я приду, но в спор встречать не буду.

— Боголюбову это и не надо.

Я забыл про этот разговор, но через несколько дней ко мне позвонила секретарь Флерова.

— Завтра у Георгия Николаевича состоится совещание, на котором будут присутствовать американцы. Вы тоже приглашены вместо уехавшего из Дубны вице-директора.

Ну и странное же приглашение. Я — в роли чехословацкого ученого, вице-директора института. Как можно было ожидать, ничего хорошего из обсуждения не получилось. Флеров умудрился придать ему характер торгашеского спора. Признайте открытие сто четвертого элемента за Дубной, и тогда будем говорить о сто втором элементе. Обе стороны разошлись, ни до чего не договорившись.

На другой день началась международная конференция по трансурановым элементам. Я пришел на первое заседание. После доклада об исследованиях в лаборатории Флерова я задал вопрос. Я не пытался ближайшего помощника Флерова, делавшего доклад, поставить в неловкое положение. Меня интересовала проблема, и я задал бы этот вопрос и другому. Со свойственной ему дипломатичностью докладчик увильнул от прямого ответа. Я еще раз повторил вопрос медленно, чтобы сидевшие в зале иностранцы поняли его. И тут я услышал злобный шепот Флерова метрах в трех справа от меня:

— Поликанов, не забывайте, что вы еще находитесь на территории Советского Союза.

Сидевший рядом со мной бывший вице-директор института, физик из Кракова, посмотрел на меня с изумлением.

Вопрос о получении в Дубне новой квартиры отпал сам по себе. В конце мая зазвонил телефон. Звонила секретарь директора института.

— Сергей Михайлович, рядом с вами есть кто-нибудь?

— Да, — удивился я.

— С вашим отцом плохо. Очень плохо.

Я понял, что отец внезапно умер. Я не сумел сделать последние дни его жизни более приятными и, может быть, даже отсрочить его смерть. Он умер на улице. Мой младший брат уже бегал по разным учреждениям, организуя похороны. Теперь мне не так уж сильно нужна четырехкомнатная квартира в Дубне. Слишком поздно.

Похороны близкого человека останавливают на день-два ход времени. Но потом с новой силой вылезают трудные проблемы, часто очень мучительные. Что будет с маленькой однокомнатной квартирой? Отнимут ее у Кати или нет? Мне она становится тоже очень нужной. Незаметно я оказался втянутым в дела, связанные со строительством под Москвой нового ускорителя атомных частиц. Этот ускоритель будет строиться в новом институте. Возможно, после отказа в поездке в Женеву я перейду туда работать. Мне все чаще приходится ездить в Москву. Иногда я оставался переночевать в квартире отца. Как сохранить эту маленькую квартиру? В Москве есть люди, которые могут помочь мне, если захотят. Достаточно некоторым из них снять телефонную трубку, и все будет решено в мою пользу. Для начала позвоню секретарю отделения ядерной физики академику Маркову. Марков готов со мной встретиться, и вскоре мы оба заходим в кабинет вице-президента Академии наук Логунова, того самого физика, с которым когда-то я бегал по Лондону в поисках кофточек для наших жен. Марков и Логунов готовы мне помочь. Логунов отыскивает номер телефона в Министерстве среднего машиностроения, и вот уже Марков убеждает кого-то:

— Поймите, что он не только наш человек, но и ваш. Вы в нем должны быть заинтересованы.

Кто еще может мне помочь? Гордеев из Цент-

рального Комитета партии. Гордеева в министерстве знают очень даже хорошо. Гордеев не производит впечатления человека мелочного и вряд ли он зол на меня за мой отказ перейти работать из Дубны в Обнинск. Я звоню Гордееву и прошу принять меня как можно скорее. Гордеев согласен, и вскоре я сижу у него в кабинете. Гордеев все понимает и тоже готов мне помочь. Он поговорит с Мезенцевым, заместителем министра. Опять Мезенцев, у которого я был уже однажды. Хорошего ждать не приходится, но кто знает, что выйдет из всего этого. Посмотрим. Во всяком случае, я нажал на самые главные кнопки.

Время идет, и я начинаю испытывать первые толчки со стороны министерства. Оставить за моей дочерью квартиру? Нет, из нее надо выезжать. Некоторое время я сопротивляюсь, и мне уже грозят тем, что в присутствии милиционера взломают дверь и вывезут мебель на склад. Не устраивать же мне в московской квартире баррикады? И наконец приходит момент, когда я приезжаю в Москву на своей „Волге” и нагружаю ее книгами отца. Это все, что остается.

Итак, я потерпел поражение везде. Полное поражение. Можно ли поражение обратить в победу? Будем считать, что настал „мой час”.

10. БУМЕРАНГ

На моем письменном столе стоит пишущая машинка. Недавно я закончил свою третью книгу, естественно, по ядерной физике. Она скоро появится в продаже. Теперь машинка потребовалась мне для необычной цели. Я писал письмо секретарю Центрального Комитета партии, самому могущественному человеку Советского Союза, Суслову. Письмо было вежливое и достаточно сдержанное. Я писал Суслову о том, что мне отказали в длительной поездке в Женеву, где в сотрудничестве с западными учеными я собирался заниматься изучением проблемы, в моей биографии физика занимавшей особое место. Я просил пересмотреть решение руководства Комитета по Атомной Энергии и разрешить мне уехать в Женеву на год. Я не ждал ответа от Сулова. Все пойдет по хорошо известной схеме. Письмо будет переправлено в Комитет по Атомной Энергии с едким замечанием в мой адрес и, возможно, советом проучить меня. В Женеву меня никто не пошлет — прецедента не будет. На самом деле согласно уставу коммунистической партии мне обязаны ответить из ЦК партии. Если не письмом, то вызвать для беседы. Однако я знал, что для тех, кто писал устав, это всего лишь клочок бумаги. Они избранные. Устав нужен для быдла, для простых работяг.

Рано или поздно отклик на мое письмо будет. Холодный и злобный. Другого я не жду, и теперь, когда бросил вызов московским чиновникам, останавливаться мне просто уже нельзя. Своим письмом

я нарушил „табу”, неписанные правила поведения советского ученого, безропотно соглашающегося в делах, связанных с поездкой на Запад, с тем, что последнее слово принадлежит партийным чиновникам и КГБ. На что я все-таки рассчитывал, отправляя письмо Суслову? На то, что оно послужит поводом для начала открытой схватки с чиновничьим миром, которой после моего поражения я уже жаждал. Но я знал, что ускорить ход событий я не могу. Скорого ответа на письмо Суслову не будет, и еще я подозревал, что о нем знают лишь немногие. Я, естественно, не мог сидеть в ожидании ответа сложа руки и начал заниматься делами в связи с возможным переходом в новый институт.

Человеку, далекому от науки, трудно себе представить, что она напоминает территорию, которую можно завоевывать, захватывать, отстаивать от посягательств чужаков, делить на сферы влияния. И в этой борьбе есть солдаты и полководцы. А ежели не бояться гнева ученых собратьев, то и добавить, что в этой борьбе рождаются кланы и даже своеобразная мафия.

После смерти Курчатова началось медленное, но уверенное продвижение к власти академика Боголюбова. Его назначение на пост директора института в Дубне выдвинуло его в число наиболее влиятельных в научном мире Советского Союза людей. Через некоторое время ученые школы Боголюбова начали быстро продвигаться по иерархической лестнице, занимать наиболее высокие посты. Совершенно головокружительную карьеру сделал ближайший ученик Боголюбова Логунов. В середине шестидесятых годов он уехал из Дубны в Серпухов, где стал директором наиболее крупного советского институ-

та, а оттуда шагнул в вице-президенты Академии наук.

В начале семидесятых годов под Москвой был организован новый институт, где решили построить ускоритель атомных частиц с настолько большим током частиц, что его иначе и не называли, как „мезонная фабрика”. Этот новый ускоритель, подобный „мезонной фабрике” в Лос-Аламосе, требовал огромных денег, исчисляемых десятками миллионов рублей, и решение о его строительстве родилось отнюдь не без трений. Когда оно, однако, появилось, началась закулисная борьба за пост директора. Победителем вышел Боголюбов, и директором стал один из его учеников, дубненский физик-теоретик Алико Тавхелидзе, грузин по национальности.

Алико не был блестящим теоретиком. Не слышал я ничего и о его организаторских способностях. Но Боголюбов решил, что Алико должен быть директором института и сделал его им. Алико был в избытке наделен здоровьем и жизнелюбием, всегда был весел, ни с кем не ссорился. По-моему, у него не было врагов, зато его ближайшим другом был вице-президент Академии наук Логунов. Научные интересы Алико Тавхелидзе были весьма далеки от того, что предстояло изучать на „мезонной фабрике”, но это не имело никакого значения. Кое-кто из дубненцев шутил, что со временем Алико изберут в члены-корреспонденты Академии наук, и тогда он уедет в Грузию, где станет князем.

Вскоре после своего назначения на пост директора Алико попал в неприятную историю. Находясь в заграничной командировке, он познакомился с американкой, и их отношения зашли несколько дальше, чем разрешалось „Инструкцией о поведении советских граждан за границей”. О приключении Алико Тавхелидзе стало известно, и его понизили в

должности. Но ненадолго. Вскоре „шалость” забыли, и Алико снова уселся в директорское кресло. И вот теперь мне предстояло через некоторое время стать одним из его ближайших сотрудников в новом институте, о переходе куда я все чаще задумывался. Я был уверен, что с Алико мы поладим, но каким далеким казалось то время, когда „мезонная фабрика” будет построена.

Дело было в субботу, когда Романов, заместитель директора по международным связям, позвонил мне домой и сказал, что со мной срочно хочет встретиться вице-директор института Ланиус, физик из ГДР, только что вернувшийся из Женевы. Кроме Ланиуса в его кабинете находились Романов и еще один немецкий физик, которого Ланиус пригласил как переводчика, хотя сам он вполне прилично говорил по-русски. Ланиус сказал мне, что мой отказ ехать в Женеву создает неблагоприятную для Дубны обстановку. Я слушал и молчал, а когда Ланиус кончил, ответил, что эту обстановку создаю не я, а те, кто меня не пускает в Женеву с семьей.

— Физики из ГДР тоже не ездят с семьями. Почему вы должны быть исключением?

Я ответил, что не вижу ничего хорошего в том, что физиков из ГДР не пускают за границу с семьями. И Ланиуса, в том числе.

— Я слышал, что вы коммунист?

— Да.

— Вы обязаны поддерживать политику партии.

— Мои отношения с советской коммунистической партией не должны вас беспокоить.

Романов, удобно развалясь в кресле, в наш разговор не вмешивался. Наконец Ланиус в несколько повелительном тоне попытался в последний раз четко сформулировать свои требования:

— Я вижу три возможных варианта. Первый — са-

мый лучший — вы едете на тех условиях, которые вам предлагают.

— Нет.

— Сейчас в Дубне находится физик из ЦЕРНа. Вы пишете письмо, в котором сообщаете, что плохо себя чувствуете. Из-за неважного состояния здоровья вы не можете приехать в ЦЕРН. Передайте письмо физики из ЦЕРНа без соблюдения всяких формальностей.

Романов утвердительно кивнул.

— Нет, такое письмо я писать не буду. Зачем лгать? Я чувствую себя превосходно.

— Если вы не принимаете моих предложений, то остается лишь третье. Я пишу письмо в Комитет по Атомной Энергии, в котором обращаю внимание на то, что вы себя ведете не как коммунист.

— Ради Бога, пишите куда хотите.

Попытки склонить меня к поездке продолжились на другой день, но уже у Боголюбова. На сей раз Боголюбов и Желепов в присутствии чекиста Романова доказывали мне, что дела в лаборатории пострадают из-за моего отсутствия. Надо сказать, что я не чувствовал особой агрессивности со стороны Боголюбова. Думаю, что он прекрасно понимал меня и, может быть, даже одобрял в душе мое сопротивление. Недаром ему приписывали ядовитое замечание на вопрос одного иностранца, почему советские ученые ездят на Запад без своих жен.

— Наши жены всегда больны, — пошутил тогда Боголюбов.

Меня уговаривали, а я наотрез отказывался ехать один без семьи. Наконец разговор зашел в тупик, и мы разошлись. Дня через четыре я встретил в коридоре Желепова.

— Сегодня я разговаривал с заместителем минист-

ра Мезенцевым. Он сказал, что вам все-таки придется съездить в ЦЕРН.

Упоминание имени Мезенцева, отнявшего у моей Кати квартиру в Москве, могло только усилить мою решимость довести ссору с чиновниками до предела.

Наконец пришел ответ на письмо Суслову. Как я и полагал, мое письмо было переправлено в Комитет по Атомной Энергии. Ответ из комитета был написан подчеркнуто грубо, без соблюдения общепринятых правил обращения по имени и отчеству. В письме говорилось, что я отказался от прекрасных условий работы. Со ссылкой на письмо Ланиуса подчеркивалось, что я наношу ущерб международному сотрудничеству Дубны, веду себя не как коммунист. Письмо было подписано чиновником невысокого ранга. Заключалось оно словами, что дирекция института правильно поступила, не пустив меня в командировку на год. Я, оказывается, нужен в Дубне. Это была ложь. От одного из знакомых я слышал, что в КГБ не хотят, чтобы моя жена ехала со мной. Меня это не удивило. В магазине многие могли слышать ее слова, что „в этом гнилом государстве даже капустой гнилой торгуют”. И еще, приехав из Копенгагена, она не удержалась и при встрече с шефом дубненских гебешников на улице на вопрос, как жилось в Дании, ответила вопросом:

— Странно ваши мальчики развлекаются, не так ли?

Опрометчивое замечание было сделано по поводу танцулек голых чекистов на явочной квартире.

Откровенная враждебность чиновников Комитета по Атомной Энергии не пугала. Чего я мог ждать от них после письма Суслову? Скоро подвернется новый повод для столкновения, и я его тотчас использую. И случай скоро подвернулся. Опыты,

начатые без меня в Женеве, скоро привели к результатам, которые было трудно понять. Хорошо бы встретиться с женеvскими коллегами и обсудить странный эффект. И тут пришло письмо из ЦЕРНа. В нем снова повторялось приглашение приехать в ЦЕРН на год, но также подчеркивалась желательность скорого приезда на одну-две недели. Почти одновременно из Копенгагена пришло приглашение посетить институт Нильса Бора. Можно начинать атаку снова.

Я начал с Романова. Мне надо поехать в Женеву на две недели, а по дороге на несколько дней заехать в Копенгаген.

— Надо ждать, когда кто-нибудь еще поедет в Копенгаген.

— Зачем? Я там полтора года жил, город знаю хорошо и не потеряюсь там.

— Вас одного куда не пустят. Я даже и не буду начинать оформление командировки.

Как раз в это время в Дубне заседал Ученый Совет. На нем обязательно есть высокое начальство из Комитета по Атомной Энергии. Я нашел начальника управления, которому подчиняется институт. Тот согласился поговорить со мной, и мы нашли укромное место, где никто не мог нам помешать.

— Вам надо поехать на две недели на Запад? А вы знаете, сколько у вас в Москве теперь врагов? Слишком много.

— Что же будет дальше?

— Вы сами заварили эту кашу своим письмом Суслову. — Начальник управления, в недавнем прошлом специалист по ускорителям частиц, задумался. — Конечно, если начинать бороться за справедливость, то этому надо всю жизнь посвятить. Вы знали, на что идете.

— Значит поездка на Запад даже на один день отныне для меня исключена?

— На что вы рассчитывали, когда писали письмо?

— Но я не нарушил устава партии.

Беседа в таком духе продолжалась долго. Похоже, что партнеры по затеянной мною игре начинают выходить из нее. Институт и Комитет по Атомной Энергии вышли. Если у меня не останется партнеров, я проиграл. Но я этого не допущу. Партнер найдется.

Почему не ткнуться к партийным боссам в Центральный Комитет партии. Один из них — мой знакомый Гордеев. Я обращусь к нему, хотя из этого ничего выйти не может. Но какими бы бессмысленными ни выглядели теперь мои поступки, я буду их делать. Я не могу стоять на месте.

Дозвонившись до Гордеева, я спросил, может ли он меня принять.

— А что такое? Где-нибудь горит?

— В Женеве.

— Позвоните через неделю. Эти дни я занят.

Гордеев наверняка знал о моем письме Суслову. О чем можно говорить после него. Я буду просить невозможное, и все сведется к неприятному разговору. Ответить грубым отказом Гордеев не решался. Лучше всего от встречи увильнуть. Через неделю выяснилось, что встретиться со мной можно лишь еще одной неделей позже. Снова я звоню и опять слышу извинения. Наконец договорились. Завтра. По приезде в Москву я должен еще раз позвонить. Условимся о часе встречи. От Дубны до Москвы сто двадцать километров. Не так далеко, но все же досадно проехаться зря. Гордеев опять перехитрил меня. Никто не снимает телефонную трубку. Хорошо, я останусь в Москве до завтра. Дозвонившись наконец до Гордеева, я задал ему вопрос в лоб:

— Владимир Филиппович, если вы не хотите со мной встречаться, то скажите прямо, и на этом закончим всю эту бодягу.

Я представлял себе, как этот крупный мужчина с большой лысой головой морщится. Ему плохо. Я ничего не имею против него лично, но почему он и ему подобные, сидящие в кабинетах Центрального Комитета, должны решать, можно ли мне полететь в Женеву? Окажись на месте Гордеева Петров или Иванов, мучился бы тот. Ведь я твердо решил измотать их, довести до белого каления.

— Да нет, что вы. Я не уклоняюсь от встречи. Просто вчера случилась непредвиденная история.

— Может быть, встретимся сегодня?

— Сегодня, честное слово, я не могу. Позвоните завтра.

Катя и Шура не отговаривали меня от опасных затей. Поэтому, когда я снова сел за пишущую машинку, на душе у меня было спокойно. Я сделал еще один виток спирали. Все-таки приятно, когда обнаруживаешь у себя запас бодрости, о котором не подозревал.

Сколько раз я выбирал цель и пытался ее поразить. Но каждый раз она ускользала, и брошенный мной „бумеранг” падал к моим ногам. Вернется он и на этот раз и даже может быть даже слегка меня стукнет. И опять никто из окружающих ничего не узнает.

В прошлый раз я адресовал письмо главному идеологу партии Суслову, теперь же оно отправится к главе советского государства Брежневу. Иными словами я повторю старые рассуждения о пользе международного сотрудничества в науке, о том, что ученый имеет право бороться за возможность работать над своими идеями. И это совсем необяза-

тельно должны быть идеи, которые войдут в историю науки. Письмо Брежневу написано в том же духе, что и Суслову, за исключением одного. Меня не пустили в Швейцарию. Больше об этом не будем говорить. В командировку я не еду и ничего не хочу от дирекции института в Дубне и Комитета по использованию Атомной Энергии. Пусть теперь мне разрешат поехать в Швейцарию как частному лицу. Я пишу чушь. Когда это бывало, чтобы советский гражданин мог просто так „прокатиться” в Западную Европу. Этого не должно быть. Допусти такую вольность, и потом хлопот не оберешься... Сегодня — один, завтра — десять, а послезавтра и все сто пожелают в Париж, например. Я не жду ласковых слов от Брежнева с обещанием пожурить начальство в Комитете по Использованию Атомной Энергии и отправить меня в Женеву. Но в любом случае, как и с письмом к Сулову, моя дерзость не останется незамеченной. Что касается меня, то, похоже, из коммуниста я превращаюсь в фаталиста, решившего испытать судьбу.

Жизнь измеряется не временем, не месяцами, годами, а событиями. Без них время — ничто. Мои действия, вызванные отказом в поездке в Женеву, стали теми колышками, которыми я начал размечать время. Письмо Брежневу — самый последний из них. Прошло несколько недель, и все указывает на то, что о моей „секретной переписке” с руководителями советского государства никто не подозревает. При встречах со мной знакомые смеются, рассказывают анекдоты, в том числе и про Брежнева. Дзелепову я сказал о предстоящем переходе в институт к Алико Тавхелидзе. Наверное, после истории с ЦЕРНОм он рад от меня избавиться. Вместе с моим будущим директором Тавхелидзе я навес-

тил вице-президента Академии наук Логунова. Мой уход из Дубны — дело решенное. Странно, но во время разговора с Логуновым я не почувствовал, что тот знает что-либо о моем письме Брежневу. Мне предложили в Москве, недалеко от Ленинского проспекта, четырехкомнатную квартиру. Скоро надо будет переезжать в Москву, и я заполнил соответствующие документы в связи с предстоящим освобождением дубненской квартиры. Не хочется все же из Дубны уезжать, расставаться с прогулками по полям и лесам. Не так, правда, много полей, больше болот вокруг, но все это привычно и выглядит родным.

Первые признаки надвигающегося шторма ощутились во время осенней сессии отделения ядерной физики. Сессия проходила в здании нового института Алико Тавхелидзе, куда я собрался перейти.

— Вы что такое там натворили? Мне под большим секретом сказали, что вы какое-то письмо написали, — всплеснула руками жена академика Маркова, — сам Гордеев звонил Тавхелидзе и, имея в виду вас, спросил, знает ли тот, кого берет работать в свой институт. Вы себе неприятности огромные наживете.

У жены Маркова и меня были планы начать в новом институте совместные работы. Похоже, супруга Маркова ужасно обеспокоена моими „подвигами“. Тавхелидзе, встретив меня, вида не подал, что знает обо мне нечто компрометирующее. Тем не менее, я был уверен, что телефонный звонок из Центрального Комитета партии для него означал многое.

Осенью в Дубне заседают всякие комитеты. Будущее Дубны меня больше не волновало, но, как член одного из комитетов, я должен был скучать на заседаниях. После обеда, когда я чуть было не за-

дремал, мне передали записку. В шесть часов вечера в кабинете директора института меня будет ждать председатель Государственного Комитета по Атомной Энергии Андрей Михайлович Петросянц. Сонное настроение исчезло.

Андрей Михайлович Петросянц, невысокого роста армянин с черными хитрыми глазами, встретил меня приветливой улыбкой и, гостеприимным жестом указав на кресло, с хода атаковал:

— Меня попросили, — Петросянц сделал ударение на слове „попросили”, — переговорить с вами. Вы, Сергей Михайлович, что-то слишком много пишете.

— Что вы, Андрей Михайлович, всего лишь два письма в год.

— Но зато какие письма, — Петросянц глянул на меня многозначительно и уже без всякой улыбки добавил, — вы подошли к самому краю. Ни одного шага больше, дальше будет опасно.

— Из ваших слов следует, что разговора о моей работе в Женеве не будет?

— Я тоже езжу за границу, но всегда без жены. А мне ведь хотелось бы поехать с ней.

Я вполне верил словам Петросянца, но не мне жалеть его.

— Андрей Михайлович, вы человек государственный. Может, вам и полагается одному ездить, хотя хорошего в этом нет ничего. Особенно для вашей жены. Я же просто ученый, физик; мне за границей по-людски жить хочется.

— Мне передали, что вы здорово изменились после приезда из Дании. До поездки вы активно работали в партийном комитете института, а по возвращении резко отошли от партийных дел. Это правда?

Похоже, Петросянц не хочет говорить о Женеве.

— Спорить на этот счет, Андрей Михайлович, с вами я не буду. Только не в одной тут Дании дело.

— А в чем же еще?

— В Данию я уехал через два месяца после чешских событий. Мне кажется, что наши танки проехали не только по улицам Праги, но и по нашим душам. Ну, а все-таки вернемся к разговору о Женеве. Меня не пустили туда работать. Ладно, пусть будет так. Но почему со мной не стали позднее обсуждать вопрос о поездке туда на две недели? Почему?

— Вот как? Я не знал, что дело зашло так далеко. Да-а, — задумчиво протянул Петросянц. — Я слышал, что вы из Дубны собирались переходить в другой институт? По-моему, вам лучше остаться работать в Дубне. Работайте и живите тихо.

Я понимал, что совет „жить тихо” всего лишь хорошо замаскированная угроза, ловко прикрытая чуть ли не доброжелательностью.

— Раз наш разговор вроде как по душам идет, не буду от вас скрывать, что жить тихо и спокойно будет теперь трудновато.

— Почему?

— У меня взгляд на жизнь несколько изменился. До сих пор я своими проблемами занимался и привело это к тому, что я стал больше о судьбе других задумываться. Почему, например, член-корреспондент Армянской Академии наук физик Юрий Орлов в тюрьме сидит без суда, а мы все словно воды в рот набрали, молчим. Почему?

Конечно, Петросянц не собирался отвечать мне, что для того, чтобы упрятать Орлова в тюрьму потребовалось немного, — отправить пять или шесть сотрудников КГБ к нему на квартиру, — а совсем не доказательства его виновности. Петросянц задумался и потом сказал, обращая скорее к себе, чем ко мне:

— А ведь было, наверняка, что-то у Сахарова. Не началось же все просто так, на пустом месте.

И уже, обращаясь ко мне, он заключил:

— Да, было у Сахарова тоже что-то.

Петросянц не спешил кончить разговор и, кажется, на сей раз не дорожил своим министерским временем. Я видел, что он был бы даже рад, если я начну жаловаться, что мою работу в Дубне плохо поддерживают, и был уверен, что в таком случае он пообещал бы „разобраться и помочь”. Но я сводил всю беседу к одному. Меня не пускают работать вместе с западными учеными, и вряд ли я приму это как должное. Петросянц слушал меня и выводил разговор в сторону от Женева, снова вспоминал, что у Сахарова тоже была причина для конфликта, и вежливо улыбался. Я понимал, что вежливость эта напускная, и на самом деле Петросянц раздражен до крайности.

— Сергей Михайлович, не ходите в диссиденты, — так завершил полуторачасовой разговор Петросянц. И почему-то мне на ум пришла давно забытая песня:

„Эх, куда ты, паренек? Эх, куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты”.

Проводив меня до дверей, Петросянц решил еще раз смягчить ситуацию:

— Я думаю, Сергей Михайлович, мы еще встретимся в более приятной обстановке.

Я не мечтал о дружеских отношениях с председателем Комитета по Атомной Энергии и холодно заметил, что ответом на мое письмо не удовлетворен. Бумеранг снова лежал у моих ног, и мне предстояло метнуть его в последний раз, на этот раз точно попав в цель.

И тогда мои недруги, по-видимому, уже начинающие смотреть на меня, как на что-то только путающееся у них под ногами, почувствуют замешательств-

во и растерянность. Тайное должно стать явным. А я наконец-то выйду из мглы, в которой блуждал много лет.

11. ЛАВИНА

— Неплохо сейчас бы рюмку коньяка выпить?

— Будет тебе коньяк, не волнуйся, — успокоил меня Володя.

Всего лишь десять минут тому назад одна из комнат квартиры опального писателя Володи Войновича была заполнена западными корреспондентами. Я думал, что придет один, а их оказалось много. Кажется, из всех газет пришли, кроме коммунистических. Двухчасовой разговор утомил, и рюмка коньяка была кстати.

Автомашину в Дубну поведет Шура, и мне можно расслабиться. Дмитровское шоссе было пустым. Поздно. Я включил радиоприемник. „Листья желтые над городом кружатся” выводил мужской голос популярную песню. Мне она тоже нравится. Тело мое словно исчезло. Осталась одна душа, и нет более ощущения тяжести. Ноша, с которой я прошел жизнь, наконец сброшена. Навсегда. Чувство раздвоенности исчезло, испарилось. Во время пресс-конференции один из корреспондентов спросил меня:

— Вы понимаете, что сейчас сжигаете все мосты?

Конечно, Шура, Катя и я все это прекрасно знали, и сейчас эти „мосты” пылали позади нас, навсегда отрезая от ставшего чужим берега. И не было больше силы, которая могла отвлечь удар „бумеранга”. По ним, по тем, кто привык считать меня собственностью государства. Что будет с моей семьей? Что будет со мной? Ведь ехали мы не в Париж или Лондон, а в Дубну, маленький город в ста кило-

метрах от Москвы, и я еще не забыл злобный шепот академика Флерова:

— Поликанов, не забывайте, что вы еще находитесь на территории Советского Союза.

Утро следующего дня не предвещало ничего особенного. Только серое небо опустилось очень низко. Встречавшиеся знакомые здоровались, шутили. Никто ничего не подозревает. Где он сейчас летит мой „бумеранг“? Пожелай я остановить его, и не смогу уже. Но я и не хочу. После обеда дома зазвонил телефон.

— Сергей Михайлович, я прошу вас срочно зайти в партийное бюро, — голос секретаря партийного бюро звучал почти торжественно.

Значит, уже случилось.

Члены партийного бюро явно были возбуждены до крайности; все ходили по комнате в разных направлениях. Секретарь партийного бюро стал куда-то звонить по телефону.

— Да, Николай Павлович, он пришел.

Николай Павлович — это Терехин. В Советском Союзе живут сотни тысяч терехиных, но для меня существует лишь ненавистный мне помощник директора института „по режиму“. Неделю назад я встретил его во дворе нашего дома. Он был вдрызг пьян. С двух сторон его поддерживали под руки две дамы.

— Ссергей М-михайлович, привет, — заплетающимся языком пробормотал, увидев меня, один из „мальчиков“ академика Боголюбова.

Все уселись за длинный стол. Секретарь партийного бюро, видимо волнуясь, взял лист бумаги, начал его крутить и обратился ко мне:

— Сегодня утром Роганов слышал, как „Голос

Америки” сообщил о вашем интервью западным корреспондентам. Это правда, что вы с ними встречались?

— Все правильно. Я рассказал им о трудностях, которые встретил, пытаясь сотрудничать с физиками в Женеве, в ЦЕРНе. Со своей стороны, я хотел бы вас спросить, почему бывший секретарь партийной организации Роганов по утрам слушает „вражеские” голоса? Вместо московского радио.

— Это разрешается, это разрешается, — загалдели все хором.

— Почему вы не посоветовались с нами? — задал дурацкий вопрос Роганов.

— О чем? О тексте интервью?

Роганов сам понял абсурдность своего вопроса и замолк. Говорить было не о чем. Все было ясно.

— В связи с вашим выступлением мы должны начать партийное дело. Чтобы соблюсти формальности, напишите объяснение, письменно подтверждающее факт дачи интервью.

Из партийного бюро я сразу пошел домой, где меня уже ждали с нетерпением. Не успел я кончить рассказ, как снова зазвонил телефон.

— Зайдите, пожалуйста, к Джелепову.

Похоже, что „снежный ком” покатился вниз, набирая скорость. Еще немного, и он увлечет за собой все, на чем покоилось мое благополучие.

Директор нашей лаборатории Джелепов с мрачным видом просматривал бумаги. В стороне с решительными лицами застыли секретарь партийного комитета института и начальник отдела Радиохимии. С запозданием к ним присоединились Понтекорво и заместитель Джелепова. Джелепов начал разговор со стандартных газетных фраз о западных корреспондентах, стервятниках, старающихся урвать кусок мяса. Я помог им. Не споря с Джелеповым, я просто

слушал его. У корреспондентов своя жизнь, свои нравы, им тоже надо хлеб зарабатывать.

— Что плохого в том, что я рассказал правду, истинную правду? — наконец не выдержал я. — Пусть на Западе познакомятся с нашими порядками. Кусок мяса дал им не я, а те, кто в выездных комиссиях сидят.

— Вас вообще не надо было никогда на Запад пускать, — вылез секретарь партийного комитета.

Надо было бы его сейчас сволочью назвать, но распускаться нельзя.

— И вашу жену тоже нельзя за границу пускать. Она болтает слишком много, — грозным басом зазудел начальник Отдела Радиохимии.

— Заткнитесь, — не выдержал я, — еще одно слово, и я уйду отсюда.

Впрочем, как и в партийном бюро, говорить было не о чем.

— Я думаю, что Поликановым займется партийная комиссия, — дрожащим от ненависти голосом закончил беседу секретарь партийного комитета.

В Дубну приехал не знающий ничего о случившемся физик из Ленинграда. Он собирается через неделю защищать диссертацию, и я — один из его оппонентов. Узнав от меня про мою встречу с корреспондентами, ленинградец растерялся. Как быть? Отказаться от оппонента? Плохо. А если защита состоится, может оказаться еще хуже. Чего доброго диссертацию в Москве не утвердят. Ленинградец быстро покинул Дубну, а я на другой день зашел к Джелепову.

— Мне нужно командировочное удостоверение для поездки в Ленинград. Там состоится защита диссертации, я — оппонент.

— Пока партийная комиссия не кончит работу, вы ни на один день не имеете права покидать Дубну?

— Я не могу срывать защиту диссертации. Зачем подводить человека? Я уеду без удостоверения.

На другой день рано утром раздался телефонный звонок. Звонил будущий доктор физико-математических наук. Мне не надо приезжать в Ленинград. У него есть новый оппонент.

В Москве, в Институте Атомной Энергии, моем родном ЛИПАНе, должен состояться семинар, на котором я сделаю доклад. Мне, однако, никто не звонит, чтобы сообщить, когда я должен приехать в Москву. Ну что же, сам я набиваться на отказ не буду. Да и не так уж сейчас важно выступить с научным докладом. Вместо этого я поработаю в библиотеке, где сейчас провожу почти все время. По дороге в библиотеку встречаю двух чиновников из Комитета по Атомной Энергии. Оба проходят, не здороваясь. Следом за ними идут двое физиков из лаборатории Флерова. Когда-то вместе с ними я начинал работу на циклотроне, проводя опыты на „Слоне”. Давно это было. Физики меня не узнают.

В Дубне начинается международная конференция. Я иду в гостиницу, где происходит регистрация участников конференции. Я ведь тоже нахожусь в списке участников. Ко мне подходит теоретик. Это он нашел правильное объяснение найденному нами в Дубне новому физическому явлению. Знаю ли я о том, что Американское Физическое Общество присудило нам, ему и мне, премию Тома Боннера. Он только что узнал об этом от приехавших из-за границы.

Из гостиницы я иду в институт вместе со своим знакомым инженером, приехавшим из Киева. Он смеется:

— Сижу я на прошлой неделе, „Голос Америки” слушаю. Толкуют про Садата, и вдруг твое имя произносят. Я чуть со стула не свалился.

Советские физики меня сторонятся, а западные хотят из первых рук узнать, что со мной случилось. Своим знакомым из Германии я прямо сказал, что уехать из Советского Союза было бы для меня самым лучшим. Но ведь не отпустят меня.

До меня дошли почти умиляющие слова академика Боголюбова:

— Вот и у нас теперь свой собственный диссидент есть.

Флеров злорадствует, теперь мне переломят хребет. Свою ненависть ко мне он выразил фразой:

— Засветилась звезда трех разведок.

Один из моих бывших друзей добавил:

— Мы всегда знали, что он так кончит.

Конференция закончилась, западные ученые уехали, и вакуум, образовавшийся вокруг меня, начал захватывать все большее пространство. Западные радиостанции кончили говорить обо мне, а Дубна продолжала бурлить. Об этом я узнавал случайно. Основная масса знакомых начала сторониться нас, но сказать так про всех было бы неправдой. Вдруг обнаружилось, что поведение людей непредсказуемо.

Навстречу идет физик из лаборатории Франка. Мы знаем друг друга лет пятнадцать. Он работал в лаборатории Флерова, но сбежал от директора. Меня вроде бы всегда понимал. Поровнявшись со мной, он начинает пристально рассматривать верхушки деревьев. Ему неловко. Почему? Но так только первый раз. Когда мы встретимся второй раз, я тоже не узнаю его.

Сотрудник из группы Желепова не рассматривает деревьев, а в упор нагло смотрит на меня. Ему так лучше. Он скоро уезжает в Женеву. До этого он честно оттрубил год, работая председателем местного комитета, и заработал зарубежную командировку. Но не все шарахаются в сторону. Большая часть людей проходит мимо, здороваясь, как обычно. Есть и доброжелатели, причем от некоторых я этого, честно говоря, не ожидал. Один, остановив, сказал:

— Хорошо ты им врезал. Так им, сволочам, и надо.

В гаражах для частных машин, где „рабочий класс” проводит вечера, идут жаркие споры, особенно после ста пятидесяти граммов водки на брата. Сосед по гаражу объясняет, что говорят примерно так:

— Что ему еще надо было? У него все есть: автомашина „Волга”, квартира и денег он зарабатывает в три раза больше, чем я.

На это мои сторонники отвечают, используя все богатство русского языка:

— Пошел ты... Ты, дурак, не понимаешь...

Я знал гаражные разговоры и не удивлялся. Работягам бояться друг друга было нечего. Говорили там от чистого сердца. И ругали, и хвалили.

— Ты теперь поаккуратнее ездь на машине, — посоветовал один из них.

Я как-то не думал об этом, но на всякий случай, словно Джеймс Бонд, запирая гараж, стал соединять двери тоненькой ниточкой. Но все это была ерунда.

Более неприятные вещи происходили в Москве. Какие-то мужики стали по утрам наведоваться в детский сад, где ночами иногда дежурила Катя. Они расспрашивали о Кате женщин, убравших помещение. Давно ли работает, когда дежурит? Одна

из этих добрых женщин, знавших Катю, накричала на одного из утренних посетителей:

— Чего вам надо от молоденькой девчонки?

Мы решили, что Кате лучше уволиться с работы.

Однажды вечером мне позвонили из Института Атомной Энергии:

— Сергей Михайлович, приезжайте завтра в институт на семинар, мы вас ждем.

Разговаривал со мной сын академика Франка, физик-теоретик. Я ответил, что об этом надо говорить с Желеповым, потому что из-за работы партийной комиссии я не имею права покидать Дубну. Минут через пять мне позвонил Желепов. Конечно, я могу ехать в Москву, но обязан вернуться к четырем часам на заседание партийной комиссии. Когда младший Франк позвонил мне снова, я объяснил, что завтра у меня слишком тяжелый день. Из Дубны мне надо уезжать около шести часов утра, а в четыре я должен быть снова в Дубне. Отложим мой доклад до следующего раза. Если этот „следующий раз” будет.

Председатель комиссии — физик из нашей лаборатории. Еще недавно мы были с ним на „ты”, и он жаловался мне, что его работы по изучению влияния магнитного поля на бактерии советские биологи не понимают. Сегодня он выглядит суровым. Председатель звонким голосом зачитывает текст из передачи „Голоса Америки”.

— Соответствует этот текст тому, что вы говорили?

— Полностью. Ничего не искажено.

— Хорошо. Перейдем к обсуждению. У кого есть вопросы?

Мой заместитель по делам научного отдела возмущен:

— Как вы могли поступить таким образом? Ведь вы коммунист.

— Да, двадцать два года я в партии. Но я еще и физик.

— Вы прежде всего коммунист, а потом ученый.

— Это по-вашему. А по-моему, я прежде всего ученый.

Член-корреспондент Академии наук Мещеряков, как всегда, закатил к потолку глаза:

— Что вы думаете о Солженицыне?

— Великий человек.

— Но ведь он написал ложь!

— Помилуйте, а как же с докладом Хрущева? Там тоже ложь?

— Все это давно осуждено партией.

К сожалению, я — человек не находчивый, и мне не пришло в голову спросить Мещерякова, где он нашел книгу Солженицына. После еще нескольких малозначащих вопросов председатель отчеканил выводы комиссии:

— Вы чаще других ездили за границу. Ваш последний поступок нельзя совместить со званием коммуниста. Еще имейте в виду следующее. Где бы в будущем вам ни пришлось работать, у вас никогда не будет группы ученых, которыми вы сможете руководить.

Домой принесли телеграмму с красной полосой наискосок. Правительственная. Завтра в Москве в три часа дня меня ожидает президент Академии наук академик Александров. Утренним поездом я еду в Москву. До трех часов времени еще много, и я отправляюсь к родственникам. Из Дубны звонит Шура. Секретарь Боголюбова сообщила, что встре-

ча с президентом отменяется. Он уехал срочно в Тбилиси на похороны академика Мусхелешвили.

Позвонили из партийного бюро лаборатории:

— Сергей Михайлович, вы не заплатили очередных партийных взносов. Зайдите, пожалуйста, а то мы должны ведомость сдавать.

Внезапно наступила глубокая тишина. Никто никуда меня более не вызывает. Нет ни одного телефонного звонка: ни от врагов, ни от друзей. Все молчат. И в Москве, и в Дубне. Выпал снег, и по субботам и воскресеньям мы начинаем лыжные прогулки. В лесу на лыжне исчезают все проблемы, и когда лицом к лицу на бегу приходится столкнуться с другими лыжниками, то совсем не редкость увидеть приветливую улыбку.

В будничные дни иногда становится тягостно. Я прихожу к себе в лабораторию и замечаю, что те, с кем я работал, замолкают, прекращают разговор. Все чаще я ощущаю себя лишним и, не желая мешать другим, уже совсем редко захожу в лабораторию. Пусть спокойно работают. Мне же спешить теперь некуда. Главное дожидаться партийного собрания и там выйти на трибуну. Но все-таки небо в этом году особенно серое, низкое. Я говорю об этом одному из своих знакомых.

— Это тебе просто человеческого тепла не хватает, — отвечает он.

Задолго до пресс-конференции я дал согласие сделать доклад на конференции в Звенигороде. Конференция состоится в начале декабря, и я о ней совсем забыл. Мне вдруг о ней напоминают, меня ждут в Звенигороде. В Звенигороде куча знакомых, и я разговариваю со многими. Нобелевский лауреат,

академик, меня не узнает, зато другой профессор предлагает мне свои лыжи, если я надумаю покататься.

Вижу физика из Института Атомной Энергии. Он упрекает меня в том, что я не приехал на семинар, не сделал доклад. Им столько усилий пришлось приложить, чтобы получить разрешение на мой доклад. До самых главных чинов КГБ добрались. Я развожу руками. Что поделаешь — партийная комиссия важнее. Мой коллега смеется.

Конференция в Звенигороде была последней, где среди советских физиков я не был еще совсем чужим.

В очередной раз позвонили из партийного бюро лаборатории, чтобы напомнить о партийных взносах. Похоже, что кого-то я здорово смутил. Они не знают, как поступить, и, может быть, зреет желание „погасить пожар”. Один член-корреспондент Академии наук в разговоре со мной заметил, что я создал ситуацию, в шахматах называемую „дугцванг”. Нет решения задачи.

Неожиданно меня приглашает поговорить первый секретарь городского комитета партии. Он, выясняется, ничего не знал о моих трудностях. Трудно в это поверить. И еще он говорит, что ничего страшного не произошло, все можно поправить. Самое главное — осознать и признать ошибку. Кто не ошибается? Важно исправить ошибку — так учил нас Ленин. А сейчас надо заплатить партийные взносы. Я так не считаю. Зачем восстанавливать сожженные мосты?

Дня через два мы снова встречаемся. Кроме секретаря присутствует какой-то партийный чин из областного комитета партии. И на этот раз пришел

секретарь партийного комитета института. Этот пытается сразу перейти на резкий тон, но его „усмиряют” двое других, и вновь меня ласковыми голосами начинают уговаривать заплатить партийные взносы. Я заверяю партийное начальство, что с партийными взносами ко мне можно более не обращаться: я платить не буду. Но моим собеседникам не хочется верить в это.

Вскоре после разговоров в городском комитете партии мне встретился Понтекорво. Что думает обо мне этот беглец с Запада, я не знаю. Понтекорво предлагает встретиться в конце дня у него в кабинете. Кроме него поприсутствовать при разговоре пришел заместитель Желепова.

— Меня просил поговорить с вами секретарь городского комитета партии, — начал Понтекорво. — Он говорит, что вы не платите партийные взносы.

— Я не буду их больше платить. Все. Хватит.

— Почему диссиденты обращаются к западной прессе?

Можно подумать, что Понтекорво только вчера заявился в Советский Союз. Зачем он мне задает этот наивный вопрос? Он ведь должен догадаться, что мой „бунт” вызревал годами, и началось это еще в ту пору, когда он жил на Западе. Он, оставшийся западным человеком, несмотря на годы жизни в Советском Союзе.

— Если советские газеты будут открыты для тех, кого вы называете диссидентами, им незачем будет обращаться к Западу.

Понтекорво пробовал меня еще некоторое время убеждать в том, что советской власти есть чем гордиться. Всеобщая грамотность, например. Зачем он все это говорил, видя, что у меня, родившегося и выросшего в Москве, произошел такой перелом

в душе, что все эти разговоры о грамотности были пустой тратой времени.

Пора бесед и увещаний кончилась не сразу. Повторного приглашения от президента Академии наук не последовало. Вместо этого состоялась встреча с вице-президентом Логуновым и академиком Марковым. Они постарались придать ей характер дружеской беседы. На столе стояла ваза с печеньем, и мы пили чай. Все было почти домашнему. Мы говорили о жизни, но разговор неизменно сворачивал к теме „свобода”. Как в разговоре с председателем Комитета по Атомной Энергии Петросянцем, не обошлось без упоминания чешских событий 1968 года и арестованного физика Юрия Орлова. Я спросил, почему в первые же дни после начала открытого конфликта КГБ сделал попытку устроить слежку за моей дочерью, которая никакого отношения к моему интервью не имела.

— Но это же логика борьбы, — глубокомысленно заметил Марков. — Вы ее начали.

Доказывать, что это просто подло, академику, работающему над проблемой образования Вселенной, было бессмысленно, но я все же спросил:

— И вы признаете честными такие приемы борьбы?

Марков не ответил. Временами разговор становился более острым, но я чувствовал, что Логунов старается сохранить дружеский тон.

— Конечно, многое утеряно, но кое-что можно восстановить, — рассуждал Марков, не понимая, что я ничего и не хочу восстанавливать.

— Вы, кажется, прекратили платить партийные взносы? — спросил Логунов и, услышав, что с этим покончено, добавил, — напрасно.

Кончая разговор, Логунов хотел еще оставить дверь для меня открытой.

— Если у вас будут ко мне вопросы, звоните мне. Я готов встретиться с вами в любое время.

— Какой выход из положения был бы для вас сейчас лучшим? — спросил меня на прощание Марков.

— Я никогда не примирюсь с партией, а это значит, что самое лучшее для меня было бы, наверное, уехать из Советского Союза.

— Этого не получится. Вы не молодой человек. Если вы обратитесь за разрешением уехать, вас не отпустят. Пройдут многие годы. Может быть, когда-нибудь через много лет вы получите согласие на выезд. Но кого вы тогда будете интересовать.

Наверное, Марков прав.

После разговора в Академии наук оставалось одно — ждать партийное собрание.

За несколько дней до Нового Года я вновь встретился с секретарем партийного комитета института и ответственным за идеологическую работу членом партийного комитета.

— С вами много разговаривали по поводу вашего поступка. Последним был разговор с самим вице-президентом Академии наук. Вы до сих пор считаете ваше интервью западным корреспондентам правильным поступком?

— Да.

— В ближайшее время на партийном собрании мы обсудим ваше поведение. Вы будете исключены из партии.

Он не мог придумать лучшего подарка к Новому Году. Все необходимые слова сказаны. Больше не будут меня вызывать куда-то, уговаривать. Новый Год встретим спокойно. Но что будет потом?

С партийным собранием, однако, не спешили. Шли недели, а его все не было. По уставу партии собрания должны проводиться ежемесячно, но начался уже третий месяц после последнего, состоявшегося в лаборатории. Ждут, когда у меня сдадут нервы, и я принесу партийный билет в партийное бюро и положу на стол. Тогда останется „проинформировать” на собрании о моем выходе из партии и при этом в мое отсутствие вылить на меня „ушат покоев”. А еще лучше, если я пойму, что борьба бесполезна, и покаюсь, повинюсь. Меня пожурят, конечно, но, может быть, даже не очень сильно. Чтобы не раздражать. Зато западным корреспондентам, провоцирующим советских граждан, достанется как следует. Все-таки, что ни говори, исключать из партии члена-корреспондента Академии наук, лауреата Ленинской премии неприятно. Лучше бы этого избежать.

В конце концов партийное собрание состоялось. В конце февраля, через три с лишним месяца после моей встречи с корреспондентами. На меня смотрели двести пар глаз, и первый раз я мог на партийном собрании говорить откровенно, что я думаю о советской власти. Выступивший после меня Джелепов говорил о моем „мещанстве”, восхищался теми, кто, плавая на льдинах месяцами в океане, совершает подвиги.

— Туда с женами нельзя, там женам холодно, — крикнул кто-то из рабочих, сидевших в задних рядах.

Ответственный за идеологическую работу в партийном бюро обещал, что „буржуазная пропаганда не пробьет брешь в нашей стене”. Для большей убедительности он ссылался на недавнее выступление члена Политбюро Гришина. Механик из моего отдела, секретарь партийного бюро моего отдела,

укорял меня в неблагодарности. Советская власть меня поила, кормила, учила. А я? Чем я ей ответил?

Мое последнее слово было коротким. Я ответил Желепову, сказав, что, говоря о героизме, лучше бы он упомянул вместо плавающих на льдинах сидящего в тюрьме физика Юрия Орлова. Ведь именно здесь, в этом зале, на этой самой трибуне, где сейчас стою я, несколько лет назад стоял Юрий Орлов и был он в тот момент оппонентом при защите диссертации.

Решение партийного собрания о моем исключении из коммунистической партии отмечало мой „отказ от партийных взглядов и переход на позиции крайнего индивидуализма”. Точнее причину исключения трудно было выразить. Заодно в решении отмечалось, что моя дальнейшая работа в Дубне „несовместима со статусом международной организации”.

Я не знаю, что чувствовали те двести человек, которые единогласно проголосовали, одобрили решение о моем исключении из партии. В одном я уверен — равнодушных не было. Прекрасно поняв, что я не желаю иметь что-либо общее с коммунистической партией, они не могли не исключить меня. Иначе я при них швырнул бы партийный билет на стол. И, наверное, некоторые ненавидели меня, потому что я стал не похожим на них, и злорадствовали в ожидании того, как мое будущее начнет обращаться в безнадежное прозябание. Те, кто мог тайно сочувствовать мне, скорее всего, жалели меня. Для них я был жертвой. И вряд ли кто догадывался, что для меня это был один из редких моментов, когда полнота жизни ощущается с необыкновенной силой. И не знали они, что, вернувшись домой с собрания, я опять имел повод сказать:

- А не отпраздновать ли нам это событие полными рюмками коньяка?

Конечно, это был необыкновенный день. „Мост”, горевший более трех месяцев, рухнул. Те, кто безуспешно пытались затушить пожар, могли наконец сказать себе с полной уверенностью, что для них я потерян безвозвратно. Нужно было быть круглым идиотом, чтобы не видеть моего твердого решения раз и навсегда отрубить веревку, привязывавшую меня к коммунистической партии, освободиться от „опеки” общества, когда-то научившего меня подчиняться ему беспрекословно. Никто, и в том числе я, не знал, что будет со мной, никто, кроме меня, не видел, что отныне я стал свободным человеком. Может быть, меня ждут тяжелые испытания, может быть, мне предстоит еще узнать такое, что заставит по-новому взглянуть на мир. Может быть. Но я знал, что никогда не пожалею, что, как птица в клетке, бился о прутья решетки, стараясь вырваться на свободу.

Жизнь вокруг меня текла своим ходом. Внешне все осталось без изменений, но, встречая на улице знакомых, я чувствовал, что в их глазах я стал человеком, безрассудно идущим к пропасти, человеком, решившим головой пробить каменную стену. И еще мне было ясно, что дальнейший ход событий неизбежно приведет к тому, что кто-то в Москве без лишних эмоций назовет меня врагом, от которого пришло время избавиться.

Поэтому я совсем не удивился, когда в конце августа 1978 года „хозяин” ОВИРа, организации, занимающейся вопросами эмиграции, Александр Григорьевич Зотов, пригласив меня к себе в Москву, сказал:

— В одном из ваших писем вы писали, что хотели бы жить в другой стране. Куда вы хотите уехать?

Да, было весной еще одно короткое письмо Брежневу, в котором я писал, что хотел бы жить в стране, где мои политические взгляды не будут влиять на научную работу. Когда пришло время, об этом письме вспомнили.

— Вы, наверное, будете советовать уехать в Израиль? — пошутил я.

— Зачем же? У вас так много друзей в Америке, наверное, туда лучше, — вполне серьезно ответил Зотов. — И еще для формальностей, связанных с получением паспорта, надо, чтобы вы написали одну фразу с просьбой о разрешении на выезд в США.

За неделю до отъезда мы возвращались из Москвы. Мы ехали в темноте по дороге, идущей через поле, и вдруг машина остановилась. „Полетело” сцепление. Случайный автобус дотянул нас до Дмитрова, где на перекрестке находился милицейский пост. Оставив машину под деревом метрах в ста от поста, я подошел к дежурившему молодому милиционеру.

— Машины в Дубну в это время бывают?

— Вряд ли. Поздно. Поставьте машину около поста на свет. Здесь поспокойнее.

— Пошли вместе, поможете мне ее сюда подтолкнуть.

Мы выкатили „Волгу” на свет. Оглядев ее со всех сторон, милиционер заметил:

— Знакомый номер. Ты, наверное, иностранцев на ней возишь?

Явно он принимал меня за шофера из дубненского института.

— Нет. А что такое?

— Мы ее регистрировали как иностранную машину. Маршрут отмечали. Только вчера пришло указание прекратить наблюдение.

Я засмеялся. Милиционер с удивлением поглядел на меня и ушел в будку.

Подошли два огромных, тяжелых грузовика.

— Ребята, подвезите до Дубны.

— Мы в Талдом едем. К тому же по дороге из Ленинграда все скаты полетели. Ни одного запасного нет.

— Ну, хотя бы до поворота на Талдом дотяните. Все же оттуда к Дубне поближе.

Мы ехали по узкой, разбитой дороге, и трос, на котором меня тянули, несколько раз лопался. Последние километры я ехал метрах в полутора от кузова грузовика, и от напряженной езды был измучен. Наконец мы добрались до поворота на Талдом.

— Может быть, до Дубны довезешь? — нерешительно попросил я.

— И правда, не бросать же его здесь? — задумчиво ответил молодой парень.

— А если скат около Дубны полетит? Ты что завтра, фраер, начальству объяснять станешь? Я поехал, — сказал водитель второго грузовика.

— Садись в машину, — решительно заявил оставшийся шофер. Еще полчаса езды, и мы вползли в наш двор. Было около двух часов ночи.

— Держи деньги и подожди меня. У меня в холодильнике початая бутылка польской водки стоит.

Через несколько минут я вернулся.

— Эх, жалко, мой напарник меня в гараже ждать не станет, — посетовал мой спаситель.

Был день моего рождения, и в Дубне меня ожидал подарок — решение расширенного заседания Ученого совета лаборатории Джелепова. В нем го-

ворилось, что в связи с „активной антисоветской деятельностью, не совместимой с высоким званием советского ученого...” совет просит уволить меня из института, лишить ученых званий и титула лауреата Ленинской премии. Что касается Академии наук, то совет обращается к ней с просьбой исключить меня из нее.

За час от отъезда из Дубны зашел попрощаться один из немногих друзей. Физик.

— Знай, Сергей, что тебе в Дубне симпатизирует больше людей, чем ты думаешь.

Мы стояли под деревьями, и лучи сверкающего осеннего солнца, пробивавшиеся сквозь желтую листву, придавали серому мрамору оранжевый оттенок. Неужели это правда, что когда-то метрах в ста отсюда стоял деревянный дом, и в нем жили наши бабушка и дедушка? Неужели все это было? Да, было. Мальчик в трусиках гонял палочкой по пыльной сельской улице ржавый железный обруч от бочки. Вдоль низких заборов из штакетника росли лопухи, а со стороны домов георгины и золотые шары.

За голубой оградой кладбища начиналась шумная московская жизнь. Скоро кладбище снесут, на его месте вырастет многоэтажный дом, и еще один, может быть, даже последний кусочек села Измайлова будет проглочен Москвой. Через двадцать минут брат скажет мне:

— Давай прощаемся. Наверное, мы никогда больше не увидимся.

И это будет сказано не на палубе разбитого в шторм корабля, а в обыденной обстановке на платформе станции метро. А пока мы идем по улице, и я внимательно разглядываю пешеходов с сумка-

ми, с портфелями. Ни один любопытный взгляд не остановится на мне. И как может быть иначе? Ведь для встречных я всего лишь случайный прохожий, посторонний человек. У каждого из них свои радости и свои горести.

Но я не уйду с пустыми руками. Я уношу с собой частичку солнечного летнего утра в исчезнувшем селе Измайлове. Через распахнутое окно вместе со свежим, прохладным воздухом будто вливается влажный запах сирени. Колокол зовет жителей села в церковь. Я лежу на постели и смотрю, как бабушка повязывает голову белым платочком. Сейчас она пойдет в церковь вместе со мной, и я обеими руками крепко ухватюсь за подол ее черного в белый горошек платья.

ЭПИЛОГ

Шел сентябрь 1979 года. Только что кончилась конференция в Энгельберге, небольшом швейцарском городе. Трое знакомых швейцарцев позвали меня вместе с ними прогуляться в горы. Невысоко, всего метров четыреста. Я плелся, обливаясь потом.

— Дайте мне ваш свитер, вам будет полегче, — предложил один из моих спутников.

Наконец мы вышли на открытую поляну. Полпути пройдено.

— Я дальше не пойду, здесь вас ждать буду.

По ту сторону долины возвышался хребет с огромной снежной шапкой. Снизу доносился какой-то гул, и я не сразу догадался, что это звенят колокольчики на шеях коров. Пятьдесят лет назад такая же, как и сейчас, снежная шапка рухнула, накрыв деревню. Но теперь там, где прошла лавина, снова жили люди. По тропинке шел старик в шляпе, с палкой в руках.

— Грюци, — поприветствовал он меня.

— Грюци.

Кто я, заинтересовался старик. На ломаном немецком языке я объяснил ему, что физик.

— Ученый? — старик уважительно покивал головой.

Две недели тому назад вместе с западными физиками из разных стран я делал свой первый эксперимент после отъезда из Советского Союза. Это был „мой опыт“, тот самый, что привел меня на Запад. Опыт прошел успешно.

Копенгаген встретил меня солнечным днем. Я вышел из аэропорта. Странное чувство охватило меня — я возвращался домой. Когда через несколько дней мой старый знакомый, датский физик, вез меня с Шурой в автомашине, я рассказал ему об этом. Не оборачиваясь, он протянул мне руку. И я вспомнил тот день, когда мой друг Свен вместе с поляками Евой и Раймундом встречали нас в аэропорту. Там кончился наш извилистый, словно серпантин, путь.

— Все будет хорошо, — сказала тогда Ева, а Шура, обняв Свена, разрыдалась у него на плече.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А б д у л л а е в — президент Азербайджанской Академии наук, физик.

А л е к с а н д р о в А. П. — президент Академии наук СССР, физик.

А р ц и м о в и ч Л. А. — академик, физик.

Б а р в и х — немецкий физик.

Б л о х и н ц е в Д. И. — член-корр. Академии наук СССР, физик.

Б о г о л ю б о в Н. Н. — академик, физик, математик.

Б р е т ч е р — английский физик.

Б р е д е л ь Вилли — немецкий коммунист, писатель.

Б р е д е л ь Виктор — физик из ГДР.

В а н Г а н Ч а н — китайский физик.

В и л ь г е л ь м и — польский физик.

В о й н о в и ч В. — писатель.

В у л Б. М. — академик, физик.

Г е р ц Г. — немецкий физик, Нобелевский лауреат.

Г о л ь д а н с к и й В. И. — академик, физик.

Г о р д е е в В. Ф. — партийный функционер ЦК КПСС.

Д ж е л е п о в В. П. — член-корр. Академии наук СССР, физик.

З а к р у т к и н В. А. — советский писатель.

З о т о в А. Г. — ОВИР, сотрудник КГБ.

К и к о и н И. К. — академик, физик.

К о м а р о в с к и й — генерал НКВД.

К у т и к о в И. Е. — физик.

К у р ч а т о в И. В. — академик, физик, руководитель советской программы работ по созданию атомного оружия.

Л е й п у н с к и й А. И. — член Украинской Академии наук, физик.

Л а н д а у — академик, физик, Нобелевский лауреат.

Л а н и у с — физик из ГДР.

Л о н г о Луиджи — лидер итальянских коммунистов.

М а р к о в М. А. — академик, физик.

М е л ь н и ч е н к о — заместитель председателя Моссовета.

М е з е н ц е в — заместитель министра среднего машиностроения.

М и т ч е л л — английский физик.

М о с е н ц е в Н. Р. — сотрудник КГБ.

Н а д ь Имре — глава венгерского правительства, 1956 г.

О к у д ж а в а Б. — поэт.

О р л о в Ю. В. — член-корр. Армянской Академии наук, физик, организатор Московской группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений, арестованный в 1977 г.

П а с е ч н и к М. В. — член Украинской Академии наук, физик.

П а т о н Б. Е. — президент Украинской Академии наук, металлург.

П е р е в е р з е в — сотрудник КГБ.

П е т р о с я н ц А. М. — председатель Государственного Комитета по Использованию Автомной Энергии.

П о н т е к о р в о Б. М. — академик, физик.

П о п о в и ч — космонавт.

Р а н к о в и ч — сподвижник Тито.

Р о г а н о в — физик, секретарь партийной организации.

Р о м а н о в А. И. — сотрудник КГБ.

Р ы ж о в А. М. — член партии с 1919 г., сотрудник НКВД.

Т е р е н т ь е в — сотрудник КГБ.

Т е р е х и н Н. П. — сотрудник КГБ.

Т е л ь м а н Эрнст — лидер немецких коммунистов.

Т а м м И. Е. — академик, Нобелевский лауреат, физик.

Т к а ч е н к о — генерал НКВД.

С а х а р о в А. Д. — академик, физик, лауреат Нобелевской премии мира.

С и б о р г Г. — американский химик, Нобелевский лауреат.

С о л ж е н и ц ы н А. И. — писатель, Нобелевский лауреат.

Ф л е р о в Г. Н. — академик, физик.

Ф л е р о в Н. Н. — физик.

Ф р а н к И. М. — академик, физик, Нобелевский лауреат.

Х у д я к о в — сотрудник НКВД.

Ц у — китайский физик.

Ш о л о х о в М. А. — советский писатель, Нобелевский лауреат.

Ш т р а с с м а н — немецкий химик, совместно с О. Ханом, открывший деление атомных ядер.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
1. „Совершенно секретно”	7
2. Неоновый свет	51
3. Диковинное перышко	78
4. Полузапад	101
5. Будни	120
6. Поединок	139
7. Затишье	164
8. Эйфория	182
9. Тупик	197
10. Бумеранг	208
11. Лавина	223
Эпилог	244



Сергей Михайлович Поликанов родился в Москве в 1926 г. В 1944 г. поступил в Московский авиационный институт, а в 1946 г. был переведен в Московский механический институт на факультет, образованный в связи с началом работ по освоению атомной энергии. С 1949 г. начал работу в секретной лаборатории, возглавляемой академиком Курчатовым, руководителем советской атомной программы (ныне Институт атомной энергии). С 1957 г. работал в международном научном центре стран советского блока — Объединенном Институте

Ядерных Исследований в Дубне. В этот период активно участвовал в развитии международного сотрудничества. Был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1974 г. В 1967 г. получил Ленинскую премию, в 1977 г. — премию Американского физического общества.

Неоднократно ездил на Запад и в конце 60-х годов провел полтора года с семьей в Копенгагене, работал в Институте Нильса Бора.

В 1975 г. начал сотрудничество с учеными, работающими в европейском Центре ядерных исследований в Женеве. Столкнувшись с бюрократической системой, лишавшей ученого права свободного общения с западными учеными, пошел на открытый конфликт с властью. В 1978 г. вступил в Московскую Группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Через несколько месяцев эмигрировал. На Западе продолжает свою научную работу в области ядерной физики.

Книга построена на автобиографическом материале. Автор живо описывает обстановку работы и взаимоотношения научных работников с руководителями. Ярко выступает порочность всей системы этих взаимоотношений, карьеристский дух ее. Встает образ молодого талантливого ученого, постепенно высвобождающегося и понимающего, что в мире несвободы не может быть свободной науки.